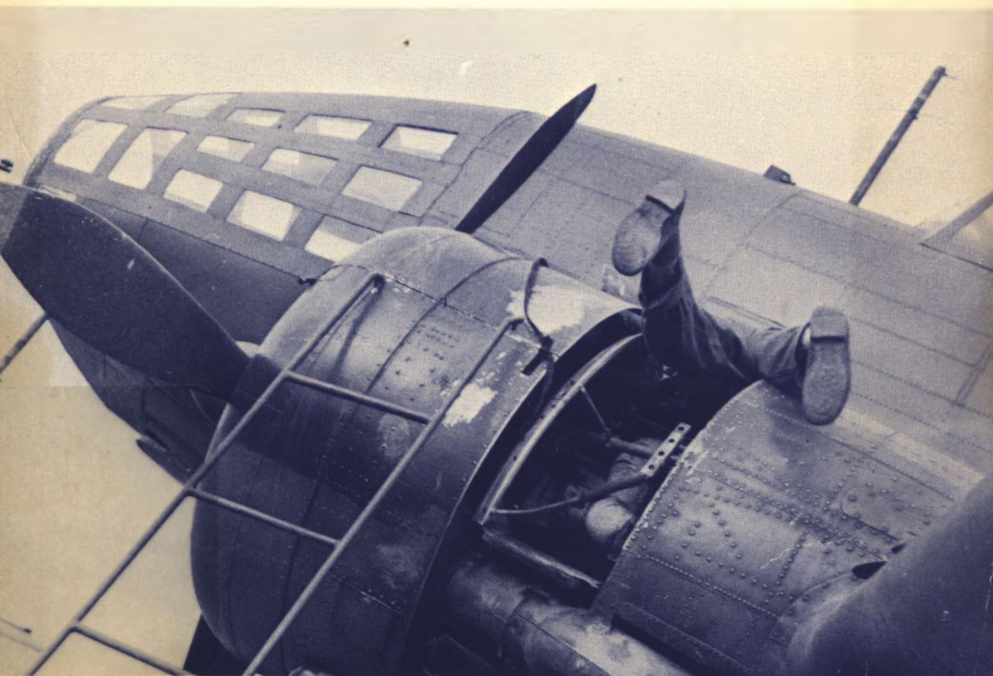


Григорий Свирский

Прощание с Россией





PORTLAND COMMUNITY COLLEGE
LEARNING RESOURCE CENTERS



КНИГИ ГРИГОРИЯ СВИРСКОГО

Изданы на Западе:

ЗАЛОЖНИКИ, 480 стр., роман-документ *ИМКА-Пресс*, Париж, 1974 г.

ПОЛЯРНАЯ ТРАГЕДИЯ, 304 стр., повесть и рассказы, *Посев*,

Франкфурт/М, 1976 г.

НА ЛОБНОМ МЕСТЕ. Литература нравственного сопротивления.

1946–1976. 623 стр., *Overseas Publishers*, Лондон, 1979 г.

ПРОРЫВ. Роман об эмиграции 1970-х. 560 стр. *Эрмитаж*,

Тенафлай, США, 1983 г.

В переводах на иностранные языки:

ZALOZHNIKI (Hostages) (semi-fictional novel): by *Seuil*, Paris, in French, 1974; by *Bodly Head*, London, in English, 1976; by *Knopf*, New York, in English, 1976; by *Hakibbutz Hameuchad Publishing House*, in Hebrew, Israel, 1978.

TRAGEDIE POLAIRE, *Quinze*, Montreal, in French, 1978.

ÉCRIVAINS DE LA LIBERTÉ, *Editions Gallimard*, in French, 1981.

A HISTORY OF POST-WAR SOVIET WRITING (The Literature of the Moral Opposition), by *Ardis*, Ann Arbor, USA, in English, 1981.

В СССР Григорий Свирский издал три книги: "Заповедь дружбы", повесть, 1947; "Здравствуй, Университет", роман, 1952; "Ленинский проспект", роман, 1962. Им были написаны также два сценария. По сценарию "Дикая земля", напечатанному в журнале "Искусство кино" № 2, 1966, был поставлен художественный фильм "Места тут тихие" ("Мосфильм").

После публичных выступлений писателя в Москве (1965–1968) против цензуры и государственного антисемитизма книги его были запрещены и изъяты из всех библиотек Советского Союза.

Григорий Свирский

ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

ПОВЕСТЬ

ЭРМИТАЖ

1986

Григорий Свирский

ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ
(Повесть)

Grigory Svirsky
PROSHCHANIE S ROSSIEY
("A Farewell to Russia." A novella)

Copyright © 1986 by Grigory Svirsky
All rights reserved

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Svirskii, Grigoriĭ, 1921-
Proshchanie s Rossiei.

1. World War, 1939-1945--Fiction. I. Title.
PG3476.S874P74 1986 891.73'44 86-22896
ISBN 0-938920-80-4

Published by HERMITAGE
P. O. Box 410, Tenafly,
NJ, 07670, USA

ПРОЩАНИЕ

С РОССИЕЙ

Казалось, я не был близок с людьми, с которыми хотел увидеться, оставляя Россию. Они присылали мне в день Советской армии поздравительные открытки с красными звездами и синими самолетиками. Я отвечал им тем же, хотя вначале пытался писать обстоятельнее. Как они жили после войны в своих дальних городах, не знал — не ведал.

И вдруг почувствовал, с каждым днем острее и болезненней, — не смогу уехать, не простившись с ними. Россия — огромная, а у каждого своя.

К кому я точно не собирался, так это к старшине Цыбульке. Но он всегда маячил перед глазами. Поэтому придется начать с него.

1

”ПЕРЕД КОМ СТОИШЬ ?!”

Когда нас, новобранцев — оборванцев, выгрузили из красных вагонов ”40 человек и 8 лошадей”, нивесть где, в глубокий и сырой снег, тут же появилась власть. Эшелон встречал плотный, бульдожьей крепости человек с кривыми кавалерийскими ногами и в синей пилотке Военно-воздушных сил. Лицо круглое, толстощековое с медным отливом. Глаза косоватые, в общем, не очень примечательное лицо. Примечательными были, скорее, волосатые кулаки длинных рук. Толстенные пальцы не были сжаты плотно, и кулаки казались неправдоподобно огромными, словно таили в себе камень или

свинчатку. Почти весь строй косился на волосатые медные кулаки, которые покачивались где-то возле колен встречавшего.

— Татарва, что ли? — шепнул мой сосед по строю.

Татарин обдернул четко отработанным жестом суконную шинель с треугольниками и птичками в петлицах, оглядел нас, чуть подавшись вперед, напряженный, как перед дракой, и возгласил (на шее надулись жилы) сорванным голосом:

— Я старшина военной школы Цыбулька!.. Смешочки от-ставить! — И рывкнул зычно: — Спать будете у двух по трóх!

Тут я не удержался, хохотнул. Да и весь строй развеселился. Эшелон прибыл из Москвы. Народ заводской. И сильно выпивший. В последнюю ночь, когда услышали от стрелочника, что дорога Киевская, ветка Гомельская, а значит, везут не на Финскую войну, на радостях не только водку, весь одеколон развели водой и распили.

— Татарва наша не иначе з Полтавы, — определил сосед вполголоса. И громче, с усмешечкой: — Это как понять, товарищ главный Цыбулька, "у двух пóтрох"? Что це так "у двух пóтрох"?

— Не пóтрох, а по трóх! — вызверился старшина. — Русского языка не понимаете!

Строй загоготал, закачался. Наконец постиг: дадут по две кровати на трех человек. Как хочешь, так и спи!

Старшина Цыбулька двинулся вдоль строя, ударяя подошвами начищенных до ярого блеска яловых сапог по снегу и вдруг остановился возле меня. Выделялся я изо всей гогочущей братии, что ли?

После московской "прожарки" на Красной Пресне, где по четным прожаривали зеков из Бутырок и Матросской Тишины, а по нечетным — солдатские эшелоны, после этой адской, со ржавыми крюками на колесах, "прожарки" нам выдали нашу обувь искореженной, с отвалившимися подошвами, пальто и ватники измятыми, — я стал таким же новобранцем-оборванцем, как и все.

Чем привлек внимание?

Старшина Цыбулька вглядывался в мои выгаращенные глаза недолго, секунду — две, и вдруг закричал дико, устрашающе, медные кулаки "по швам":

— Перед кОм стоишь?!

Я очень старался, но так и не сумел изобразить на своей заспанной физиономии раскаяния и ужаса. Я подумал вдруг о потенциальной мощи языка — одна измененная гласная, и все как на тарелочке: и образование, и характер, и самомнение, и чувство неполноценности, в котором старшина не признавался, наверное, и самому себе.

— Из ниверситета? — почти с отвращением спросил Цыбулька и отвернулся. Судьба моя была решена. Под басисто-унылое разноголосье: "Броня крепка и танки наши быстры..." я зашагал в строю избранников старшины на кухню. Огромную солдатскую кухню оршанского авиагарнизона, навсегда провонявшую завалами гнилой картошки и чем-то терпким, отвратно-капустным... Я шагал туда под разудалые песни с присвистом, каждые вторые сутки. Спустя неделю я засыпал, стоило мне прислониться к стене.

Такое роскошество не поощрялось.

Если б меня заставляли, как других, чистить мороженую картошку и колоть дрова! Увы, я был весом легче других, и три раза в день меня опускали в огромный, как кузов самосвала, чугунный котел, держа за ноги, головой вниз, вычерпывать миской дымящийся гороховый суп или перловую кашу. Остатки. Чтоб можно было закладывать "по новой".

Перловая каша, или, в солдатском просторечии, "шрапнель", прилипала к моему носу или лбу, я этого не видел, зеркал вокруг не было, и я не сразу понял, почему моя физиономия вызывает такое бурное веселье.

По утрам-вечерам, путаясь в длинных, не по размеру, шинелях, мы бежали всей школой на оршанский аэродром Барсуки, мимо бюста Дважды Героя Советского Союза Грицевец, со снежной короной на макушке, уби-

того по небрежности на собственном аэродроме, бежали долго (аэродром настоящий, "стратегический", объяснял старшина), а затем, разбившись на шестерки, обступали 250-килограммовые обледенелые "дуры" и раздвигали! — подцепляли их под крылья циклопических бомбовозов с гофрированными фюзеляжами.

Конечно, существовали для "дур" специальные боевые лебедки, но какая техника работает в мороз?!

И потому в ночь-заполночь:

— Школа-а, бегом а-арш!

За этот тяжкий труд нам и прислали живого героя.

Герой был кудрявым, жизнерадостным. С бычьей шеей.

Спросил, нет ли в школе гармошки, а то бы попели. Гармошки не было, и потому он сразу приступил к делу, рассказал, как они летели большой группой бомбить Швецию, и все там разнесли в пух и прах.

Черт меня дернул поднять руку.

— То есть как? — спросил я, вставая и вытягиваясь в струнку. — Только позавчера в газете "Правда" было сообщение ТАСС. Из-за плохой видимости самолеты, летевшие бомбить финские укрепления, сбились с курса и оказались в Швеции. "ТАСС уполномочен заявить..."

Герой уронил указку, которой он водил по карте Скандинавского полуострова, и — нет, не засмеялся, зареготал.

Отсмеявшись, разъяснил, что в этот шведский город собирались добровольцы со всего мира — помогать финнам...

— Ну, мы их и того... В пух и прах... А ТАСС... ТАСС свое дело знает...

Когда героя проводили, Цыбулька приблизился ко мне сзади, неслышно, и сказал почему-то очень тихо:

— На кухню! Три наряда вне очереди! Чтоб не задавал, понимаешь, ненужных вопросов.

На кухне, засунутый головой в дымящийся котел, я постиг: многое, очень многое надо передумывать заново. Если газета "Правда" брешет, как сивый мерин...

Какая острота мысли появляется, когда висишь вниз головой!..

Утром Цыбулька распорядился всему строю курсантов пробежать мимо турника и по одному подтянуться на перекладине. Каждому по шесть раз. Дисциплинированные подтягивались по шесть, хвостуны — по восемь-двенадцать раз, Цыбулька немедля пресекал хвостовство.

— Тут тебе что, цирк?! Кончай нарушать!

И вот наступила моя очередь. Я с опаской приблизился к турнику, подпрыгнул и... повис кулем.

Строй начал похохатывать.

Татарское безглазое лицо Цыбульки стало багровым. Похоже, у него и мысли не возникало, что есть на свете люди, которые не в силах подтянуться на турнике. Таких в военной школе не было. И быть не могло.

— Обратно цирк! — взревел он.

Я дергался судорожно под перекладиной. Зеленая обмотка на моей ноге размоталась, болталась туда-сюда.

Тут уж строй начал колыхаться и приседать, держась за животы.

— Кончай наруш... — яростно начал было Цыбулька и вдруг, приглядевшись ко мне, оборвал самого себя на полуслове: понял, что я дергаюсь не понарошке.

— Слазь! — изумленно закричал он.

На следующее утро дневальный растолкал меня, когда все еще спали на своих "вагонках" "у двух по трох". Я поглядел на круглые вокзальные часы, висевшие в казарме на стене. Пять утра! До подъема целый час! Матюкнувшись по адресу дневального, снова упал на подушку.

Мое одеяло отлетело в сторону, как сорванный бурей парус. Цыбулька командовал, на этот раз приглушенно, чтобы не разбудить подразделения.

— По тревоге одеться и за мною бе-згом!

Мы примчались к турнику, и тут я понял, что пощады мне не будет.

Старшина Цыбулька был сверхсрочником. Жил с



семьей в дальнем конце нашего авиагарнизона под Оршей. Чтоб успеть в школу к пяти, он подымался, видимо, в четыре утра. Затемно. Метель, не метель — являлся. И так три месяца подряд. Одеядло с меня скинет, и на турник. До общего подъема. Я опасался — сорвет мне сердце.

Обошлось по молодости.

Когда я впервые сделал "солнышко", перевернулся на турнике вниз головой, у Цыбульки появилось горделивое выражение мастера, который обезьяну превратил в человека.

Он честно отработывал свой хлеб, старшина Цыбулька. Нет, он просто героически отработывал свой хлеб.

Не положено, чтобы курсант не отвечал стандартам авиашколы. Потому, видно, Цыбулька любил задерживать огромное катившееся колесо, внутри которого я висел, цепляясь за железные скобы руками и ногами, любил придержать колесо сапогом, когда я висел, как в кухонном котле, головой вниз, и — поговорить со мной о службе. Спокойно. Неторопливо. "Тяжело в учении, легко в гробу" — весело говаривали курсанты.

Веселого тут было мало. Парень из Армении, мой кухонный сотоварищ, забыл его фамилию, не выдержал бесед в колесе, кухни, бессонницы, муштры, — повесился на чердаке авиашколы. На тонком кавказском ремешке.

У паренька не было чувства юмора, давно заметил, он вскипал тысячу раз в день.

А можно ли уцелеть в военной школе без чувства юмора. Пусть затаенного. Смейся про себя, солдат, но — смейся, иронизируй...

Я начал постигать это еще в чугунном котле, задыхаясь от смрада подгорелой "шрапнели", а понял глубоко, когда мы начали то и дело проваливаться, фигурально выражаясь, в болото "законной" лжи...

Если б только ТАСС изворачивался, брехал что ни попадя...

Пузатый "Дуглас" доставил в Барсуки новую библиотеку с грифом "секретно". Мы встречали его всей шко-

лой, разгружали ящики. Книги о воздушных боях на Хасане. Наши инструкторы посмеивались тихо в курилках, когда выяснилось, что все вывернуто шиворот-навыворот: написано, скажем, японские бипланы бежали восвояси, а на самом деле наши, советские, едва уносили ноги на своих допотопных перкалевых "Р-5"...

— Вот цирк! — сказал кто-то из них Цыбульке.

Цыбулька побагровел до волосатых ушей. Политикой он не занимался.

Политикой занимался командир взвода младший лейтенант Галайда, который свою первую политинформацию бодро начал со слов: "Товарищ Гитлер сказал..."

Через год начнутся "дурацкие игрища, когда неизвестно у кого и что и в какую сторону отлетит", как высказался один старый пехотинец о треклятой войне, всего-навсего год человеческой жизни осталось у нас, и, кто знает, хватило бы у меня на эти кровавые "игрища" сил, нервов, ловкости, висельного юмора, наконец, если б не звериная Цыбулькина школа. Я вспоминал его после войны почти по-доброму, нашего уязвленного своим невежеством и дико преданного делу "татарву з Пилтавы..."

"РУСС — ФАНЕР"

Спустя год, в убийственный мороз 1941 нас бросили под Волоколамск, горевший костром день и ночь. А когда Волоколамск догорел и жители вынули из петель оледеневшие трупы юнцов с дощечками на груди "PARTIZAN", полк перекинули на запад, на "аэродром подскока", как значился он на штабных картах.

Аэродром этот был опушкой березового леса, размочаленного артиллерией, а за этой поруганной белизной дымились на круглом холме русские печи (все, что осталось от села), откуда стучали пулеметы и время от времени подвывала "гитара" — немецкий шестиствольный миномет.

Двадцатая армия под командованием генерала Власова рвалась, утопая в снегах, на Ржев, да только, вот, близок локоток...

Погиб генерал Панфилов, срезало пулеметной очередью конника-генерала Доватора и, когда казаки-добровольцы пытались подобрать на поле любимого генерала, погибло еще шестьдесят человек.

Зимнее наступление 1942 года выдыхалось...

Мы вступили в дело, когда, по сути, фронт встал.

Белый самолетик с номером на руле поворота — фанерная тарактелка "По-2" — сел на "аэродром подскока" первым. Едва его лыжи коснулись снега, он тут же перевернулся и вспыхнул чадным бензиновым костром. Из задней кабины вывалился на землю мешком наш главный "технар", маленький, в огромных летных крагах, инженер-капитан, единственный в полку человек, которому мы желали провалиться в тартарары. И в огне не горит, ловкач! Фамилия у него была

”полумаршальская” — Конягин. Думаю, что маршала Конева игрой в лошадиную фамилию не изводили. С ”Конягой”, как мы его называли, дело обстояло иначе. Как только ни крестили!..

Красная ракета, запрещающая посадку, еще не рассыпалась искрами, а инженер-капитан Конягин, в одном унте из собачьего меха, без шапки, срывая с рук и бросая в снег чужие краги, уже что-то кричал армейскому радисту, который бежал к нему с длинной антенной, болтавшейся за спиной.

И получаса не прошло, зеленый ”дуглас” из армейского резерва генерала Власова загрузил под Волоколамском и вышвырнул на березовую опушку воздушных стрелков, мотористов и вообще весь ”мелкий люд” нашего авиаполка, оставленный там до времени.

Инженер Конягин, обожженный, рука на перевязи, и какой-то необычный, с истеричкой, в чужой шапке, оттопыривающей уши, выдергивал что-то из-под снега и — матерился люто, чего с ним не бывало никогда.

Оказалось, что вся лесная опушка, отведенная нам под ”аэродром подскока”, была завалена трупами солдат. Солдаты были наши, стриженные, в новеньких зеленых ватниках и в серых армейских ушанках, которые ветер гнал-метал по полю. Снег завалил, припорошил трупы, иногда их приходилось выдергивать, отрывать от земли. Одних мы волокли за ноги, прочь от посадочной полосы, других оттаскивали на хрустевших от замерзшей крови плащ-палатках.

Кто-то из солдат-стариков, провозивший мимо на розвальнях раненых, сказал горестно:

— Ну, подснежников у вас...

Прижилось словечко. Мы оттаскивали ”подснежники” к самому краю лесной опушки и там складывали один на другой. К утру новый аэродром походил на огороженную со всех сторон древнерусскую крепость. Только не из бревен стены — из оледенелых трупов.

Инженер-капитан Конягин работал с нами как простой солдат. Следил краем глаза, чтоб мы доставали документы из карманов погибших. У одного мальчишки

лет семнадцати я вытянул белые листочки письма. И несколько фотографий. Стряхнув снег, пробежал глазами первые строки. От матери письмо. Из неведомой мне деревни Кушереки. Мать писала погибшему сыну, как способнее ему возвратиться домой. Чтоб меньше пересадок... "Садись на "дежурку". Тут я тебя встречу, голубок ты мой..."

Я стал утирать мокрое лицо рукавом шинели, Конягин вырвал из моих рук письмо и, пробежав, закричал на меня:

— Щеки три! Снегом! Белый, как смерть!

Взлетную полосу наконец утрамбовали: облепленный снегом каток проволокли трактором туда-сюда, и пилот, мерзший у своей машины, прокричал Конягину:

— Дмитрий Иванович! Можно начинать?

Тьма навалилась сразу. Колкая. Ледяная. Едва угадывался поодаль, на старте, флагманский самолетик, густо закрашенный известкой. Он пытался вырваться. Не тут-то было. Лыжи примерзли.

Конягин и все, кто был под рукой, покачали самолет взад-вперед, он дернулся, затарахтел, разворачиваясь для взлета.

Конягин отошел, прикуривая, закрывая рукой спичку, и вдруг заорал благим матом: "Сто-о-ой!!" Подбежал к самолетику, показал рукой воздушному стрелку, торчавшему из открытой кабины кожаной куклой, — вылазь!

Тот сполз на животе вниз, а Конягин, напялив на себя его зеленый шлем и парашют, забрался на место стрелка. Показал летчику рукой в кожаной перчатке — давай!

Мы понимали Конягина!

До этой зимы полк воевал на скоростных бомбардировщиках. Летчики — кто с Хасана прибыл, кто из Испании. Опытный народ. Да где они, наши скоростные бомбардировщики? Испанская слава! Треть повзрывалась на земле в четыре утра двадцать второго июня. Остальных "Юнкерсы" прихватили под Мозырем, на летном поле с памятным названием "Гноево".

— Не война, а сплошь "Гноево", — кричали летчики, выпрыгивая из горящих машин.

К зиме нашему "безлошадному" полку подбросили учебные самолетики из фанеры и перкалевой обшивки. "Кукурузники" "У-2", которые позднее назывались, в память конструктора Поликарпова, "По-2". Со всех аэроклубов насобирали "заслуженную технику". Инженер Конягин эту мысль подал. Специальную докладную написал, хотя летчики его и отговаривали: "Ты что, Димка, сказился? "По-2" в бомбовозы. Смерть фанерная-верная". Пожилые технари, которые в графе "образование" писали неуверенно "неполное среднее" и уважительно называли инженера полка "головастым", "академиком" или, в раздражении, — "курчавым", всегда опасались, что он что-нибудь такое, да выкинет...

У Конягина кудрявился над огромным выпуклым лбом казачий чуб. Выбивался даже из-под армейской ушанки.

Но старики язвили "курчавым" не за ухоженный чуб. За "курчавую" речь. — "Сидя в запасном полку и видя, как пошла вкривь и вкось война, я решил, тщательно обдумав..." Инженер-капитан объяснялся огромными, сколько хватало дыхания, периодами, порой обрушивая на нас волны деепричастных оборотов. Старикитехники, слушая инженера, глаза закрывали, недовольно бурча в курилке: "Темно говорит, книжно, курчаво...", "Большой охапкой слова берет..." А после того взбудораженного рассказа Конягина о том, как он, "сидя в запасном полку и видя..." боролся за бомбардировочный полк "У-2", старики долго называли свое начальство уж не иначе, как "сидя-видя..."

"Сидя-видя" приказал...", "Сидя-видя" опять приду- мал..."

Бомбить с "У-2"! "Сидя-видя" проклятый!"

Когда Москва решила, наконец, создать ночной бомбардировочный полк "У-2" (да не один, а на нескольких фронтах сразу), Конягин, похоже, и сам струхнул: грех на душу взял: против "Мессершмиттов" на эта-

жерке! Потому и ринулся в бой первым. Не позволяли, а он все равно полетел.

”Ничего, ребята, презимуем — выживем”, — подытожил он после своего вылета. Мы слушали его в дощатом самолетном ящике, где прятались от ледяного ветра. Тряхнул чубом, наклонил бугристый лоб, словно бодаться собирался. — Почему уверен, что выживем? Мы для немцев невидимки... Вот расскажу, как отбомбились. — И, набрав полную грудь воздуха, зачастил неохватными ”конягинскими” периодами о том, как они проскочили фронт невидимыми и, ”при лунной подсветке”, планировали со снижением.

— ...Увидя, что повисаем над единственной в селе хатой, дернул за скобу, и нашу этажерочку, облегченную от бомб, подбросило вверх, и она ушла, как пушинка, без звука...

— Как ведьмаки на метле! — заметил в сердцах кто-то из стариков-технарей.

Засмеялись, но — облегченно. Вернулись целыми-невредимыми. Факт!

С легкой руки инженера Конягина, наш фанерный полк окрестили в штабе армии ”шапкой-невидимкой”, и теперь полк работал без передышку, колесом. ”Этажерка” за ”этажеркой” — каждые четверть часа взлет. В метель. В дикий мороз. Взлет!.. То тут, то там раздавался, сразу за немецкой передовой, глухой взрыв наших ”детских” фугасок. Иногда двойной взрыв, если одна из пятидесятикилограммовых бомб зависала и отрывалась лишь после второго рывка за самодельную проволочку сброса.

Как тут ни рассчитывай — вся ”сбруя”-то наша была самодельная. И два бомбодержателя, похожие на печные ухваты, и проволочка механического сброса, проведенная в кабину стрелка. Все Конягин смастерил, все учел.

Но, сказать по правде, многие пилоты и после первых удач относились к конягинской затее, как к начальственной блажи. У каждого была своя боль. А порой, и уязвленное самолюбие. Поверженная профес-

сиональная гордость. Военного летчика скоростной машины, испанского асса — на таратайку!

Своих чувств пилоты не скрывали, окрестили Дмитрия Конягина Дмитрием Донским таратаечного полка, а как-то даже хором исполнили в самолетном ящике-ожидалке под трофейную губную гармошку:

Победим таким манером —
Отобьем врага фанером.
На болвана Димку —
Шалку-невидимку.

Мы долго, до весны, не могли поверить в то, что были для немцев страшной опасностью. Оказалось, два месяца они не догадывались, что уцелевшие у линии фронта хаты и сараи... бомбят с воздуха. Самолеты "У-2" в бомбардировщиках не значились. Фанерные бомбовозы... со скоростью грузовика?! Такого нельзя было себе представить. Об этом не упоминалось ни в одном немецком разведывательном донесении...

К тому же, вокруг взорванных ночью хат, как правило, не было фугасных воронок. Никто не слышал и моторного гула. Однажды кто-то сообщил в штаб дивизии СС о мотоциклетном треске... ушедшем в небо.

Дивизия СС прочесала подмосковные леса, искала партизан-диверсантов.

А в каждую хату набивалось в зимние ночи сорок второго года, на трехэтажные нары, до сотни солдат с передовой. А попадания были точными. С высоты минимальной.

В конце концов, германский генштаб особым приказом запретил солдатам Вермахта скапливаться ночами у линии фронта под крышами. Свежие пополнения отныне спали в лесах, под кустарником, в промерзших болотах. Рассредоточенно...

И потянулись в Германию эшелоны и эшелоны с обмороженными "фрицами"...

В записках немецких генералов, вышедших после войны, сказано, что более всего были опасны немецкой

пехоте самолеты "черная смерть" (штурмовики "Ил-2") и "русс-фанер", или "кофейная мельница".

Но то когда еще выяснилось!..

Измученные морозом и ночным каторжным трудом, мы выполняли приказ. И только. Конягина терпеть не могли. Я же его просто ненавидел. Особенно в тот день, когда он послал меня доставить к самолету баллон со сжатым воздухом. Я огляделся, вокруг никого. А баллон чугунный, веса в нем 90 кг. Конягин, видел как-то, взвалил такой баллон себе на спину и понес, широко расставляя ноги, покачиваясь. На то он и Коняга. Железная лошадь. Второй такой не было... Я толкал черный баллон валенком, катил его, волочил по снегу, а когда доволоч, задыхаясь, услышал желчный голос Коняги, обращенный к кому-то:

— Этого только за смертью посылать.

В те дни я жестоко обморозился, раздутые черные щеки лупились, уши, как у слона. Врач обмотал меня бинтом с какой-то вонючей мазью, но я вскоре сорвал бинт: кончишься не от пули, а от вони.

Тогда он и произошел, тот памятный случай. Один наш двухкрылый самолетик приземлился как раз между немецкими позициями и нашими. На ледяном поле. Летчика, пока он бежал к своим, немцы скосили из пулемета. А самолет... самолет, похоже, уцелел, и было приказано его вытянуть к своим. Ночью. Тихо.

Конягин построил нас и, по обыкновению, не сказал, а выпалил:

— Поелику работа на ничьей земле, стрелять будут и в голову и в задницу; кто по-пластунски ползать разучился, может там и остаться, пойду я и... кто еще?

Подняли руки механик сбитого самолета и я.

— Ты-то куда, слоновьи уши? — Конягин усмехнулся. — Тут со смертью игра...

Я ответил с давней обидой, четко, как отрапортовал:

— Товарищ инженер-капитан! Сами сказали — меня только за смертью посылать.

Кто-то в строю засмеялся. Конягин отвернулся, не

удостоил ответом, мол, о чем тут говорить, не по Сеньке шапка.

— Еще один человек нужен, — озабоченно произнес механик сбитого самолета. — Двоим не обойтись.

— Нужен тебе, бери!

К передовой нас подтащили на санях-розвальнях, вместе с тросом и железным барабаном, которые я жирно смазал тавотом, вонявшим, по определению солдат-пехотинцев, тухлой рыбой. К окопам, выдолбленным в мерзлой глине, добирались ползком, таща за собой волокушу с нашим нехитрым оборудованием.

Оставалось малое... доползти ночью до оставленного самолета, набросить петлю буксирного троса на стойки шасси.

А сверху, с бугра, немецкий пулеметчик бьет веером. И днем, и ночью. Снег порошит...

Мы окопнулись в глиняном окопе, наконец в полночь пехотный майор выделил двух автоматчиков для охраны; Конягин, оглядев нас, приказал своему технику приторочить трос к его брезентовому поясу. "Сам пойду", — сказал. А мне вручил телефонную трубку — прямая связь с авиаполком.

Конягин и автоматчики, в белых масках, нырнули в какой-то лаз и показались уже там, на ничьей земле, метрах в десяти от окопов. За нашими спинами жажнула несколько раз пушчонка, не то для ободрения, не то чтоб отвлечь немцев. И снова тихо.

Немцы запустили с холма ракету, одну, другую, словно разбиваются ракеты об облака, осыпаются огненной пылью...

Белое поле мертво. Развороченная зенитка поблескивает вдалеке, а самолет, маленький, темный, едва различим. Чему поблескивать? Фанера, перкаль, винт деревянный. Мотор мог отсвечивать, конечно. Чихалка железная, "М-11". Да, видно, пробил цилиндр. Вырвало масло, залило все густо...

Каждая ракета, каждый прожекторный луч, метав-

шийся по полю, казалось, все погубит. Иногда остановится луч, в лоб бьет.

Лезть туда страшно, а ждать — жутко.

Около часа прошло, пока Конягин, в снегу по брови, руки ободраны, в крови, ввалился в окоп. Прохрипел мне: "Давай!" Я тут же закрутил рычажок полевого телефона, вызвал свой полк, произнес сугубо секретное слово: "Рыба на крючке".

Вскоре затарахтел над нами командирский ПО-2, крутанулся раз-другой над полем. Самолетные огни, конечно, потушены. Чего он крутится? Как раз над крокодилей пастью! Там счетверенных пулеметов набито, зениток скорострельных... ох, эти игры!

А тут снова пошли ракеты, полоснул вдоль поля прожектор. Оказалось, наш самолет поставил дымовую завесу, даже яростный прожекторный луч не мог пробить насквозь невидимого и густого, как сажа, дыма, повисшего над "ничей землей". А о ракетах и говорить нечего... Тускнели в дыму, никакого от них про- ка...

Мы вертели металлический барабан остервенело, трос, обляпанный снегом, резал песок и глину бруствера как ножом. Почти до самых окопов доволокли самолет, благо он на льжах; счастье, неглубоко вмерзли лыжи, рванули раз-другой, а там уж пошел ходко...

Немцы заметались. Пулеметы свои красные пучки выгатакивают, кладут их то веером по снегу, то к небу тянутся трассы. Бить-то по чему? Тьма. Мрак. Собственной руки не видно. А тут еще дым, — что горит?!

Пропела "гитара" — шестиствольный миномет. Послушали мы, приткнувшись к льдистой глиняной стенке окопа.

Коняга сделал, что мог, и все точно, да только угодила в бензобак, видать, мина. У самого бруствера. Весело он занялся, наш фанерный броненосец. Белое пламя металось туда-сюда, закручивалось спиралью.

— Хоть погрелись, — сказал в утешение пехотный майор, заталкивая нас в землянку, чтоб не прикончило гостей шрапнельным осколком.

Вернулись понурые. Не получилось. В ожидалку — пустой самолетный ящик — набилось этой ночью больше народа, чем всегда. Послушать, как съездили на "передок". А что рассказывать?..

Я принялся топить железную печурку. Сырые ветки, смоченные в бензине, трещали усыпляюще. Затухала печка. — Подкладывай, что есть! — кричали мне со всех сторон.

А что было, кроме большущих стоп листовок, сваленных по углам ящика?

Листовки были красивые, в несколько красок, порой на глянцевой бумаге, и все как одна призывали немцев сдаваться в плен. Некоторые так и назывались — "Пропуск в плен". Но в феврале 1942 года почему-то никто из немцев с нашими "пропусками" не появлялся, и авиаторы, народ смекалистый, немедленно приспособили листовки "для растопки". Когда топишь листовками, дым из трубы идет белый, почти невидимый. Ни разу нас ни артиллерия не накрыла, ни пикировщик не взорвал. Под шелест горящих листовок воевать веселее...

Сгрудились несколько летчиков возле открытой печки, трут озябшие руки, говорят вполголоса. Конягин показал мне жестом — подбрось-ка в печку чего-нибудь. Я принес еще одну стопку листовок и принялся размешивать их палкой, да огонь раздувать. Слышу обрывок фразы: "Дима, это ж не стратегический пункт. Не Смоленск. Не Ржев. Пять разбитых печек. Какое-то городище. И не городище. Хутор. А положили на нашей поляне народу... Ты не слышал на "передке", в чем дело?"

Конягин понизил голос почти до шепота, но все равно его сиплый шепот был слышен так же ясно, как если бы инженер кричал. Шепот, по сути, и был криком, и этот его шепот-крик я помню по сей день.

Пехотный майор, давший нам в землянке для утешения по кружке спирта с куском сала, объяснил инженер-капитану, что две недели назад они взяли деревню, возле которой теперь наш аэродром, сходу. На рас-

свете. Доложили в дивизию. Те — командующему 20-й армией генералу Власову. Генерал Власов, естественно, командующему фронтом Жукову. Тот — Сталину. Сталин флажок на карте передвинул. Московское направление. Каждый шаг в Ставке отмечают... А тут немцы подвели танки, да как наших с холма шуганут. Покатились вниз, по наледи. Кто без валенок примчал, кто шапку потерял. Снег весь в крови...

Пошли в атаку заново. Какое!.. Из роты вернулись трое. Один с ума сошел.

Закрутилось колесо в обратную сторону. Власов докладывает Жукову — не удержали высоту...

Командующий фронтом и слышать не хочет.
— Высота №... наша. Должено товарищу Сталину... А вы пятитесь как раки?!

Сообщил Жуков, что передаст двадцатой армии еще две пехотные дивизии, которые сейчас разгружаются в Волоколамске. Посадить солдат на грузовики и прямо с колес — в бой. "В семнадцать ноль-ноль доложить. Высота наша. Выполняйте!" "Так и пошли, — завершил пехотный майор свой рассказ. — Без артиллерии, без танков..."

Конягин выложил все это взахлеб, шепотом, озираясь на дверь.

Долго молчали. Кто-то длинно и страшно выругался. Все понимали, что за пять обугленных печек убили тридцать тысяч стриженных ребят...

— Командарм, что, не мог отбиться? — не спросил, выдохнул пилот, стоявший подле инженера.

Конягин молчал. Из полумрака самолетного ящика, где на нарах лежали в комбинезонах и унтах летчики, донеслось насмешливо-злое:

— А что такое командарм? Может он самого Жукого на х... послать, что ли? Раз Верховному положено...

Конягин торопливо взял стопу листовок, швырнул в печь, чуть посветлело. Оглянувшись, он тут же перевел рискованный разговор на другое. Бодро, будто вовсе и не говорил о страшном, сообщил еще одну новость. Скоро

введут новые звания. Золотые и серебряные погоны со звездочками...

— ...поелику мы будем называться офицерами, создадут, как в старое время, офицерский клуб.

— Клуб? Шо це таке? — послышалось с нар.

— Ну, вроде Пиквикского клуба, — Коняга засмеялся зло, а я принялся швырять в печурку новые пачки листовок.

Час, не меньше, швыряли и швыряли листовки. Молча. Стало чуть теплее.

Приоткрылась дверца, в ящик ворвались ветрище, снег и звучный голос дежурного, кому вылетать, а кому можно греться.

Я еще и новой пачки листовок не сжег, вернулся дежурный, сообщил деловито-спокойно:

— Свирский, на выход!

Я затянул потуже ремень на своей черной малести-новой куртке механика и — бросился к самолету.

— Эй! — Дежурный догнал меня, направил двухцветный трофейный фонарик в лицо, то синим, то красным слепит. Игрушку нашел. — Тебе во-он туда. Особенно вызывает...

Начальник особого отдела, или "особняк", как его называли летчики, расположился в небольшой кате, на отшибе. Полк наш маленький, стрекозиный, и "особняк" походил на стрекозу. Тонкий, как жердина, лейтенантик. То за одной бумагой метнется, то за второй протянет длинную руку. Лицо румяное, полудетское. Петлицы на гимнастерке черные. Говорят, был у танкистов генерала Катукова, да не прижился.

Я ушанку снял, снег отряхнул, он смеется:

— Значит, самолично тебя оболванил "под ноль"... Поиздеваться над тобой решил. При всем честном народе.

Я насторожился. История давняя. Чего вдруг с этой стороны подъезжает?

Была в столовой "технарей" официантка. Все роняла, что брала в руки, косорукая. Да солдатская посуда не бьется, хоть кидай ее с самолета. "Талант про-

падает", — веселились ребята. Была эта официантка такой устрашающей ширины, что называли ее "льжей от ТБ-3". Как она к нам попала, почему задержалась, никто не знал.

Обращались с ней, скажем мягко, грубовато.

Кого обольет борщом, тот ее по-матушке. А кто и по крутой заднице ладонью хлоп, со звоном.

Я, по обыкновению, бормотал, когда она что-нибудь расплескивала: "Не беспокойтесь! Не беспокойтесь!"

И, естественно, когда она что-нибудь ставила на стол, говорил: "Спасибо".

Похоже, ей это нравилось. Однажды она, на бегу, взъерошила своей огромной потной лапицей мой буйно завивающийся вихор.

Я был сержантом срочной службы, оболваненным, как и положено, "под ноль". Но ведь война, морозы адские! Оставил я себе маленький вихор. Кому какое дело!

Через два дня ворвался в землянку инженер-капитан Конягин, в руках у него была машинка для стрижки. Он усадил меня на табурет и провел узкую дорожку от шеи до лба. Выстриг тупой машинкой, точнее, выдрал всю мою недозволенную красоту. Затем положил машинку возле меня; уходя, бросил с усмешечкой: "Дострижешь сам, козаче!.."

Землянка после его ухода точно взбесилась. Ходуном ходила. "Коняга приревновал Гришку к "льже"..."

Я лег на нары и отвернулся от веселившихся механиков. Весь мой сексуальный опыт ограничивался пробегом, перед посадкой в эшелон, полутемной комнатки санчасти, в которой стоял небольшой прожектор, нацеленный прямо на причинное место новобранца. А за столом сидела дама с шестимесячной завивкой. Я инстинктивно прикрыл причинное место ладошкой, за что дама, покричав визгливо, заставила меня пробежать перед ней вторично.

А меня расталкивали ночью и требовали рассказать подробно, как я совладал с "льжей".

Я краснел от "немыслимых" вопросов и мычал.

Веселого на войне мало, а тут — развлечение...

И чего вдруг вспомнил об этом особист?

Да еще страдальческую физиономию скорчил, вот вот разрыдается.

— Оскорбил тебя, понимаешь, Конягин при всем честном народе. Только каторжникам выстригали так голову. В проклятое царское время. Полосой. Или пол-головы. — И с искренним недоумением. — И чего он тебя уродовал? Ты и без того черный, как негра.

— Поболтали, хватит! — вдруг произнес особист жестко и положил передо мной лист чистой бумаги. — Пиши, понимаешь, все как есть... Инженерную академию закончил Конягин, а бросает тень на высшее командование... Самого задевать?.. Тридцать тысяч, де, в навоз... Ты чего вставочку положил? Перо рондо. Хорошо пишет. Взять вставочку! — рявкнул он с силой, которой в нем нельзя было даже подозревать. — В полку создана подпольная антисоветская организация... Сформирован комитет, понимаешь... Сам я слышал следующее...

Я бросил вставочку, словно она обожгла мне пальцы.

— Ничего такого не слышал.

— Как так не слышал? Где был?

— Я печку топил.

— Пе-эчку топил. Уши как у слона, а ничего не слышал, понимаешь! Я тебя сейчас из негра разрисую в китайца... Вставочку бери! "Подпольная группа получила кодовое название "Пики"...

Тут я, от нервного напряжения, что ли, захохотал — затрясся, до слез. Давно так не хохотал. "Пи-ки"?! Рассказал "особняку" про "Пиквикский клуб". Диккенса сочинение. Английского классика.

Особняк ударил кулаком по досчатому столу. Кулак маленький, а бумаги аж все попрыгали.

— Кончай печку топить!

Я втянул голову в плечи. Зябко мне стало в мо-

ей ватной куртке механика из чертовой кожи. Покусываю свои раздутые обмороженные губы.

“Особняк” вытащил из кобуры пистолет “ТТ”, щелкнул затвором, положил на стол. Сказал брезгливым тоном:

— Ты кто есть? Срочная служба. Последний человек, понимаешь. Я не буду тебе каторжную полоску выстригать. Выведу за порог, станешь “подснежником”. Одним больше, одним меньше. Понял — нет?

Я помолчал недоверчиво, потом снова начал рассказывать про Диккенса. Объясняю, это о нем, о писателе шла речь... Диккенс создал “Пиквикский клуб”, классическое произведение мировой литературы.

— Значит, обратно печку топишь? — особист взял со стола пистолет и махнул им в сторону двери. — Выходи!

Я шагнул, не оглядываясь, в холодные сени. За спиной жажнул выстрел, пуля пробила над моей головой деревянную притолоку.

— Ты что, бежать, понимаешь?.. А то беги, немцы в шести километрах... Или, может, еще подумаем. — Голос особиста наглый, жутковатый. — Землица, понимаешь, сейчас такая, что и могилки не выроешь. Лом не берет...

Я постоял в промерзших сенях. Начал постигать, что он не шутит, этот лейтенант. Ноги вдруг стали как из ваты...

Вернулся назад и начал картинно живописать мистера Пиквика. Как он катался на коньках. Не останови меня особист, я бы весь роман пересказал.

— Кого ты выгораживаешь? — с тяжелой досадой произнес особист и достал из папки какие-то бумаги. — Он тебя не пожалел. Вот показание. Конягин публично сказал, что тебя только за смертью посылать... — Он оторвал прищуренный глаз от листа. — Значит, что? Можно повернуть так, что с твоей стороны саботаж. В военное время.

Я рукой взмахнул, какой там саботаж, баллон про-

мышленный, его и лошадь не утащит. Разве что наш Ко-
няга...

— Здоров бугай?

— Тощенький, вроде, небольшой, а как из сплошно-
го железа человек. Руку пожмет, взвоешь...

“Особняк” листает бумаги, вроде не слушает, но,
чувствую, подобрался, как для прыжка. И вдруг резко:
”Когда Конягин полез на ничью землю, самолет закреп-
пить, он перекрестил себя широким крестом. Есть пока-
зания, перекрестил. Так вот, католическим или право-
славным?”

— Я — нехристь, товарищ лейтенант. Читал, что рас-
кольники крестились двуперстьем, а не кукишем.

Про раскольников знаешь, мог заметить! Право-
славный крестится щепотью, то есть тремя пальцами,
на лоб, на грудь, на правое плечо, затем на левое.

А у католиков, знаешь — нет? Или всей рукой или
одним пальцем, вроде указательным. И машут рукой
наоборот, сначала к левому плечу, затем к правому.

А потом целуют свой большой палец...

Хоть это-то ты мог разглядеть, недотепа?

— Я... не...

— Знаю, печку топил.

А вот есть сведения. — Он положил руку на стопу
папок в тускло-серых казенных корочках. — Отец у
него, по некоторым сведениям, был поляк. Заяд-
лый. — Открыл верхнюю папку, взял листочек в кле-
точку, и я, Бог мой, увидел на просвет каракули его
возлюбленной “льжи”...

— Нательный крест носит?

— Нет!

— Ты чего, понимаешь, выгораживаешь?

Так в бане был вместе. Нет никакого креста.

— Чего ж он — дурак, в бане при всех с крестом
петушиться! Академию, небось, кончил. Крест у него
в особом мешочке. Всем говорит: амулет. — И в раз-
дражении. — А м у л е т. Недовьяснено — православ-
ный или католический... Но оттуда зараза.

Вот зачем ему “льжу” подсунули!..

— Товарищ лейтенант! Был бы он не наш человек, зачем бы он за смертью пополз? За самолетом этим. Поле простреливалось насквозь. Мог бы спокойно меня послать. По праву. Или еще кого... Са-ам полез!

— Серый ты, не понимаешь! Так они и маскируются. Завоевал полное доверие командования, и тут же, под полом, "пики"...

Я как с цепи сорвался:

— Товарищ лейтенант! Шуточный то был разговор. Все слышали. Про Диккенса. Диккенса даже школьники знают. Английский классик.

— Перестань про своего Диксона молоть, студент зачуханный! Будешь и дальше печку топить — нет? — Взял со стола пистолет, сунул в карман. — Ну, пошли, сам себе судьбу, понимаешь, выбрал. — Он приблизился ко мне, и я почувствовал, что от него несет винным перегаром, как из бочки. "Точно кокнет!"

Я похолодел до кончиков пальцев, выскочил за дверь, которую распахнул ветер и — кинулся в ночь, упал, метнулся в сторону, в сугроб, снова помчался, пригибаясь, как на передовой.

— Стой, кто идет? — застуженно проорали из темноты часовые.

Я остановился, стараясь отдышаться. Бежать? Куда?! Я кинулся назад, к самолетному ящику, над которым, вроде, как всегда, сочился белый дымок. "При людях не кокнет..."

В ящике была темень могильная. Печка погасла. Летчики, в унтах, наставив меховые воротники, посапывали, раскинувшись на двухэтажных нарах. Инженер-капитана не было... "Дождусь тут!"

Руки висели как палки. И чуть дрожали. Не было сил даже швырнуть в печурку очередную стопку листовок "Сдавайтесь в плен..."

И получаса не прошло, вдруг заглянул "особняк", пошарил своим большим ярким фонарем по нарам, отыскал меня у стенки ящика.

— Печку перестал топить? Правильно! Образумился, значит... — И вполголоса. — Выдь на улицу. — Погля-

дел на свои трофейные часы со светящимся циферблатом. — В шесть ноль-ноль приедет из штабармии Иван Сергеевич. — Отбил я ему шифровку. — И снова, дыхнув на меня перегаром: — Ты подпись свою поставишь, понимаешь! А нет — нет! Твое слово — олово, мое — свинец... Придешь в 6.30, понял?!

Он закрутил ручку телефона. — Старшина! Знаешь, кто говорит?.. Доставишь в "Смерш" этого Свирского поутру. Как позвоню. Секунда в секунду, понимаешь?

Поземка ввинчивала снег в черное небо штопором. Слово и небеса были намертво прихвачены к земле штопорами. Налетел ветрище, и завывли на все голоса навалы обледенелых трупов. Я кинулся в сторону, завяз в сугробе. В валенки набился снег, да потеряй я их сейчас, не сразу б заметил.

Убитые не кричат, я знал это, но слышалось мне, не ветер мечется, стонет — стриженные ребята мечутся, кричат безнадежно.

"Юнкерс-88" выл над головой привычно-надсадно. "Уу-уу-уу". Так надсаживаются только восемьдесят восьмые. "Сейчас саданет", — подумал отрешенно.

"Юнкерс" скинул "САБ" (осветительную авиабомбу). Лампочку повесил. Закачалась лампочка на парашюте, задымила, окрасив ад в неестественный химический мертво-зеленый цвет.

Зеленые снега вокруг, зеленые брустверы из ледяных трупов. Зеленые "подснежники", накиданные у самолетных стоянок и деревенских хат.

Страшный убийственный цвет почему-то вызвал в памяти этого Ивана Сергеевича из штаба армии, который зайвится утром с кольцом на животе.

Прикатил он как-то на двух "газиках". Из первого сам вылез. Из второго вышел мужчина лет тридцати в рваном ватнике и лаптях, и девчонка лет восемнадцати. Румянец во всю щеку. А мотор, как на грех, не заводится. Из мусора мотор, давно свое отработал. Я все руки ободрал, винт крутил. Конягин два часа бился — свечи, прокладки менял, погнал меня за новым аккумуля-

тором. Притащил самый сильный, из зарядки. Помогло, как мертвому припарки...

А до рассвета час. Мужчина в лаптях нервничал, сновал взад-вперед, девчонка обняла его за плечи: "Старший лейтенант, не волнуйся! Старший лейтенант, не волнуйся!"

— Опоздали! Их сразу возьмут! — тихо заметил Ивану Сергеевичу кто-то выглянувший из первого газика. Иван Сергеевич лишь рукой махнул в меховой перчатке, мол, не твое дело.

Тут вернулся с задания последний по штабному расписанию наш бомбовоз. Ночь кончилась.

Уж сереть стало, когда затарахтел наш старенький "М-11", затрясся весь, наконец выровнялся.

Летчик подошел к Ивану Сергеевичу, придерживая рукой свой парашют, болтающийся пониже спины, сказал:

— Товарищ подполковник, к выполнению ответственного задания готов! — И медленно обвел глазами светлевший горизонт, мол, понимаешь ты, что я везу твоих людей на верную гибель. Парашюты у них ночные, черные. А угодят под солнышко.

— Вперед! — рывкнул Иван Сергеевич, и наш заплатанный "У-2" тут же заскользил, подпрыгивая на снежных наметах, провожаемый взглядами всех, кто находился на поле...

Ничего хорошего, получается, от этого Ивана Сергеевича ждать не приходилось.

...Немецкую ракету на парашюте, какую за ночь? раскачивал ветер. Она снизилась, светила безжалостно. Выжигая своим химическим светом все надежды...

Я побежал, не ведая куда, снова опрокинулся на что-то ледяное, костлявое: задел валенком почернелую руку, торчавшую из-под снега. Вскочил и опять брякнулся лицом об жесткое, неживое...

Так я мчал, пока не ухнул в огромную зеленую яму. Забыл, саперы приезжали на прошлой неделе, рванули землю толком. Получилась огромная могила, в которую кидали "подснежников". Почти все они были раз-

дети: одни в белых нательных рубахах, другие в гимнастерках.

Это, заметил кто-то, деревенские, обобранные войной до нитки, "раскурочивали по ночам павших..." Ватные штаны и валенки были содраны, порой вместе с армейскими подштанниками. Так и оставляли стриженного — головой вниз, голыми посинелыми ногами вверх.

Я не мог выбраться из глубокой промерзшей ямы. Ногти обломал. Сполз на животе обратно.

Зло меня взяло. Сам себя хороню. Уж и в могилу залез. Стало вдруг нестерпимо жарко; что было силы, подпрыгнул и, уцепившись за обрубленный корень дерева, выбрался наверх. Ткнулся я лицом в обжигавший снег. Полежал обессиленный, оступелый.

Наконец приподнялся на руках, сел, подтянул свои полуобгорелые от частой сушки валенки и — взглянул в набитую доверху яму. Исчезла оступелость, будто ее и не было. Сказал самому себе со спокойной яростью, которую испытал разве в Волоколамске, когда увидел трупы наших повешенных парней:

— Душегубы проклятые, ничего не скажу об инженере, ничего вам из меня не выколотить...

И тут я понял окончательно, что пропал. Заревел в голос. Ревел, как мальчишка, не стыдящийся своего рева. Слезы намерзли на щеках, и я их сдирал рваной ва-режкой вместе с шелушившейся обмороженной кожей.

Войне и года не было, и я еще жутко боялся смерти. И прощался, впервые прощался с жизнью, понимая, что мне ничто не поможет... Я воочию видел себя среди этого навала "подснежников". Так же вот и будут торчать голые зеленые ноги.

За ночь меня заметет, а потом доконают маму, которой придет бумага, что ее сын расстрелян по приговору военного трибунала...

Я тянул солдатскую лямку третий год, видел, как пропадают люди. Теперь нацелились на инженера... За что? Не любят, вот и "стучат"... Я топтался и топтался

на снегу, отгоняемый хриплыми застуженными головами часовых: „Стой, кто идет!”

Почему вдруг догадался пойти к инженеру? Да вовсе не догадался. Стал коченеть. Руки, как деревянные.

Кое-как перевалил через бруствер из скрюченных трупов, окаймлявший аэродром, как крепостной вал. И потянулся к огню.

Несгибавшиеся в коленях ноги привели меня к своей землянке; я взялся за лопату, чтоб откопать дверь, но поставил ее на место.

„Что скажу в землянке, если спросят?.. Кто сможет помочь? Никто...

И тогда я решил достучаться до инженера, который жил со своей „лыжей” рядом, в крошечной землянке.

Я стучал и стучал в дверь инженера. Дверь досчатая, доски необструганные, шершавые.

Разбил кулаки в кровь и не почувствовал этого. И вдруг зашуршала, звякнула железная щеколда. Это был звук спасения, в которое изверился.

Заспанный Конягин поглядел на меня своими холодными глазами:

— Что тебе?.. Заходи!

Я оглядел землянку — „Лыжи” не было; начал лопотать...

— Погодь! — сказал он, и, выйдя на порог, видно, натер снегом лицо, шею. Вернулся раскрасневшийся, лоб аж горел; сказал, прикурив от самодельной зажигалки:

— Давай по порядку...

Выслушав меня, он посидел минут пять недвижимо, попыхивая папироской. Затем закрутил ручку полевого телефона, сказав мне жестко:

— Выйди наружу. Жди!..

За дверью кружило, как и раньше. Не то поземка свистела, не то бомба с очередного ночника... Немецкая „САБ” погасла. Тьма стала непроглядной.

Минут через пять мимо меня прошуршал по снегу человек. Когда он приоткрыл дверь Конягина, я узнал

его. Лейтенант из штаба полка, друг Конягина, земляк, вроде... Его не было целую вечность, затем он вышел неслышно, почти крадучись, как будто я уже был „подснежником“, не повернув ко мне головы. Я понял это так: Все! Никто не спасет!

Тогда пусть я замерзну тут, у конягинской двери. Лучше оледенеть тут, чем кокнут, а потом убьют мать. Я уже не чувствовал ничего, чудилось, пожалуй, ощущение дремотного тепла, когда снова, не взглянув в мою сторону, прошмыгнул в землянку штабист. Сразу вышел назад и — исчез в свистящей поземке.

Инженер-капитан Конягин поглядел на мое лицо, вытащил бутылку, заткнутую белой ветошью для протирки моторов. Налил мне стакан водки, сказал: — Быстро!

Я выпил залпом, он подождал, пока я обрету цвет живого... И сказал мне, как всегда, единым духом:

— Вот тебе предписание в Коломну, там пересылка Запфронта, выдана задним числом, уже два дня, как я тебя откомандировал, понял? Поелику ты сверхкомплект, понял? Когда приедет сюда этот... Иваныч из армейского смерша?.. — Набрал в грудь воздуха, и уже жестко, как боевой приказ: — К пяти утра чтоб тебя здесь не было, двигай тут же, не емши — не пимши. Машины идут за снарядами с передовой, голосуй; в Волоколамске, ожидаючи состав, не торчи на виду, ткнись в вагон и замри, будут окликать — выманивать — ни-ни! Попадешь через Москву в пересылку Запфронта, оттуда рвись куда дальше, — из двадцатой армии, с Западного фронта, хоть к полюсу, понял? — Взглянул на мое встревоженное лицо. — А мы, дай Бог, отобьемся...

Я затолкал все свое имущество в старый армейский мешок, закинул его за спину и выбрел, по снежной целине, к обочине дороги, на которой тряслись — буксовали грузовики со снарядными ящиками. Тянулись сани-розвальни с ранеными. Лошади шарахались от железного грохота, раненые постанывали. Я прыгнул в пустой кузов полуторки и через час, озираясь (чтоб не

попасть кому на глаза), мчался по разбитому перрону станции Волоколамск, конечной станции сорок второго года...

Кто-то подал руку, втянул в товарный вагон. Бинты мои расползлись, черная кожа на щеках окончательно облезла. Вагон забит кавалеристами. Обмерзшие. В бинтах. Остатки уничтоженных эскадронов Доватора.

В родимой Москве не задержался. Ни на минуту. Поглядел с любопытством на аэростат воздушного заграждения, который куда-то волочили на коротких веревках девчата в зеленых юбочках. „По улицам слона водили.“ Никогда этого сверхоружия не видал. Что-то в этом было от цирка. Вроде наших „У-2“, — тоскливо подумал я.

Майора, принимавшего в Коломне мои документы, попросил, чтоб меня отправили на фронт сегодня же.

— Какой фронт! Тебе в госпиталь надо!

— Не могу, дорогой товарищ майор, — воскликнул я, как мог, выразительно. — Ни дня не могу ждать.

Майор поглядел на меня, спросил сочувственно:

— Твоих, что ли, всех порешили? — И, не дождав-шись ответа: — Ладно, догоняй состав. Уходит стрелковая часть, успеешь, давай с ними...

Я впрыгнул в отходивший вагон, который скрипел и шатался. Так он и дошатался до станции, которую сопровождавший нас офицер называл Чуваши-Париж.

Оказалось, тут формировался новый стрелковый корпус.

Загнали нас в холодные конюшни, выдергивают по-одному. Проверка. Я одно знаю. Завет Конягина. Уходить подальше. И сразу.

Выложил я офицеру свою красноармейскую книжку. С фотографией длинношеего солдата в синей пилотке.

— Э, да ты не сюда попал, — сказал офицер, и распорядился выписать мне направление в город Арзамас, где с трудом размещался 1-й запасной авиаполк.

Плохо! Арзамас, город старинный, на прямом пути Москва-Казань, тут выдуют и без фонаря...

Сдаю в Арзамасе свои бумаги, вижу, толкуются возле пареньки в летных унтах. Оказывается, это стрелки-радисты. Их "отфутболивали" в Казань, в 9-й Запасной авиаполк. „Бомбардировочный”, объяснили. Я подал голос, мол, и мне надо в Казань. Всю войну на бомбовозах работал.

— А пожалуйста, — сказал „строевик”. — У нас только истребители.

В Казани формировался новый полк. Кто не очень рвался на войну, тот мог „кантоваться” здесь и месяц, и три. Людей, по-прежнему, было намного больше, чем самолетов.

Ни в мотористах, ни в воздушных стрелках надобности не было. Я побрел, было, обратно, но меня догнали и вернули.

— Ты электроникой занимался? — живо спросил офицер с молоточками в петлицах. — Никогда?.. Какое образование?.. Десятилетка?! В институте учился! Слушай, дружище, полк наш пикирующий. Нету ни одного специалиста по автоматам пикирования! Беда! Выручи, освой этот проклятый автомат... Буду учить. Что знаю — скажу.

Утром всю „технократию”, с ее солдатскими котомками и рулонами чертежей, погрузили на волжский пароход, который потащился к Ярославлю. Весь трюм чертежами обвесили, гражданских не пускали, кругом секреты; готовили „водяных специалистов”, как острили солдаты.

Когда в поезд пересаживались, я завернул свою солдатскую пайку в особо секретную схему на толстой бумаге, затолкал в карманы брюк. В Вологде, когда спали вповалку на цементном полу, крысы съели весь хлеб, которым запасся на дорогу. Осталась только сильно обгрызанная секретная схема; если б и ее сожрали без остатка, не избежать бы мне штрафбата.

Грузовик забросил нас под Волхов, в полк пикирующих бомбардировщиков; именно в эти дни и часы летчики изо всех сил помогали удержать проход, из ко-

того, как кровь из раны, сочились остатки окруженной, разбитой армии Власова.

От Москвы генерал Власов немцев отогнал. В Ленинграде прорывал блокаду по заледенелым болотам... Выходили солдаты в рванье, без сапог, оставленных в трясине, без утонувших в грязи пушек и танков. Спрашивали про своего генерала: выбрался — нет...

Недели две полк держал проход, потеряв треть самолетов и много солдат-мотористов, которых скосил вначале „Мессершмидт“, а затем свой собственный скорострельный пулемет, который поставили на треноге у штаба, а он вдруг упал, продолжая косить все вокруг...

Отвозили раненых на станцию Бабаево, тут увидел вдруг серых полумертвых людей. Они выползали из вагонов и, не в силах и шага сделать, присаживались „по нужде“ возле колес. Женщины в зимних платках, дети с синими ножками...

Засекретили трагедию Ленинграда так, что я, воевавший в Белоруссии и под Москвой, не слышал о ней ни звука.

Когда смотрел в ужасе на ленинградские эшелоны, когда слушал рассказы об оставшихся там, под снегом, впервые подумал о том, что нами правят Преступники. Нет, я подумал не о *самом*, не о Верховном, я лишь сказал себе: правят Преступники...

Как-то вдруг слились в моей душе две стрелковые дивизии, убитые неподалеку от села „Погорелые Городищи“, и — ленинградцы, polegшие за зиму. „Подснежники“, о которых в газетах — ни строчки...

Ночью нас подняли по тревоге, забили до отказа нашими телесами тупорылый старый „ТБ-3“, он же „братская могила“, в солдатском просторечии, и пилотов, и штурманов, моторяг натолкали всех до кучи и повезли неизвестно куда. В воздухе к нам пристроилось еще звено „ТБ-3“. Что за парад?

Кто-то из штурманов определил, что под нами Соловецкие острова. Куда уж дальше?

Потом начались скалы. Серые, белые, блекло-зеле-

ные. Они походили на доисторических чудищ, налезших друг на друга в ледниковый период.

И вдруг снова вода, черная, страшноватая. Не иначе, через полюс везут, в Америку, за новой техникой. Мы посмеялись, но вскоре стало не до смеха. Наш авиабронтозавр разворачивался на посадку. Длиннющий и узкий, стиснутый сопками аэродром горел во всю длину и ширину.

— Какой же это аэродром? Это пожар на газовом промысле, — отметил кто-то деловым тоном.

Сверху проплыли журавлиными клиньями около сотни „Юнкерсов-88”; взрывы на взлетной полосе подбрасывали нашу многотонную „братскую могилу”, как теннисный мяч. Мы тут же ушли на второй круг, на третий, на десятый. Счет потеряли... А посадки все не давали.

Наверное, у нас кончилось горючее, „братская могила” стала валиться на узенькую полоску у сопки, на которой пилот посчитал, может быть, удастся приземлиться. Мы обхватили друг друга крепко, и так, стоя, и бухнулись в желтый огонь, точно в кратер вулкана.

За нами посыпались остальные „ТБ-3”, только последний загорелся, едва коснувшись земли. Везет!

Внутри кратера вулкана никто не ходил. Все только бегали. Мы рысцой, пока не началась новая бомбежка, достигли огромной подземной столовой, где потолок то и дело ухал и осыпался, и там объявили, что мы теперь принадлежим Краснознаменному Северному Флоту.

Бог мой, я стремился попасть всего лишь в другую армию. В лучшем случае, на другой фронт. А меня забросили уж не только на другой фронт. В другое министерство. Военно-Морского флота. И в самый дальний угол планеты... Приказ инженер-капитана Конягина был выполнен с немислимым успехом. Да вот только, как он сам выкрутится?..

В АЭНГА — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЭРОДРОМ *

”Особняков” в Заполярье не жаловали. Это я понял сразу. Однажды меняю на самолете сгоревший предохранитель, летчик крикнул откуда-то сверху:

— Меха-аник! На крыло!

Я влез по дюралевой стремянке на крыло, козырнул.

— По вашему приказанию...

— Вон, особист идет, с папочкой в руках, видишь? — нарочито громко перебил он меня. — Подойти на консоль**, обоссать его сверху. Повтори приказание!

Особист слышал зычный голос летчика и свернул в сторону.

Я в испуге съехал с крыла на спине и только вечером узнал, почему в Ваенге столь необычный ”климат”.

Не так давно особист застрелил на аэродроме летчика: тот бомбил свои войска, как было объявлено. Особист поставил старшего лейтенанта, командира звена, у края обрыва, и — из пистолета в затылок. А через двадцать минут пришла радиограмма, что свои войска бомбили самолеты Карельского фронта. Совсем другая авиагруппа. Того особиста увезли в полночь, до утра он бы не дожил... Привезли другого, который ”знал свое место”, как доверительно объяснил мне белоголовый мужичина с реки Онеги, Иван Шаталов, знакомый мне по первому полку, еще в Белоруссии.

Ледяное Баренцево море наложило на все свой осо-

* Ныне г. Североморск.

** консоль — самый край крыла.

бый отпечаток. Война была непрерывной, как полярный день, столь же кровавой, как в пехоте, когда вдруг никто не возвращался из полета, ни один экипаж, и... какой-то оголтело-пьяной. Такого лихого забубенного пьянства не видал ни на одном из фронтов.

Только что вернулась из дальнего похода большая подлодка — "Щука". Где-то за Норд-Капом, у берегов Норвегии, у нее взорвались аккумуляторы. Лодка потеряла ход. К тому же, взрывом убило всех офицеров и часть матросов. И вот, оставшиеся в живых матросы подняли на перископе самодельный парус и тихонько, под брезентовым парусом, начали продвигаться к своим, в Кольский залив. Лодка кралась так близко от вражеских берегов, что ее принимали за свою. Недели две или три плескались они, как на баркасе, у самого края могилы, и вдруг контрольные посты у входа в Кольский залив объявили:

— Прошла "Щука" №...

Она вынырнула с того света, — это понимали все, и поэтому в губе Полярной, на пирсе, выстроилось командование подплава. Сбежались офицерские жены. И наконец прибыл адмирал флота Головки со всем штабом — встречать и награждать героев.

Лодка свернула в Александрийскую бухту — по всем навигационным правилам, подтянулась к пирсу Полярного и — затихла. Пять минут прошло — десять, никого нет.

Встревоженный штабник прыгнул на лодку и застучал ногой по люку. Подбитый железками каблук флотского ботинка звякал долго.

— Э-эй, живы кто?..

Ржаво заскрипели болты, люк приоткрылся, из него высунулась красная физиономия в черном берете и сказала медленно и очень внятно:

— Весь спирт допьем, тогда вылезем!

После чего люк закрылся и снова заскрипели болты...

Я потом встречался с матросом — штурманским

электриком, который привел лодку. Он сказал, что Героев им из-за пьянки не дали, а так... обошлось.

Это я еще мог понять. Из ледяной могилы выле-зешь — что тебе штабная суета.

Но возле меня ходили-пошатывались ребята, ко-торые на тот свет пока только заглядывали. Правда, часто, да на колесных самолетах. Упал в воду, шесть ми-нут и паралич сердца. Особенно поражал лейтенант по кличке "Рыжуха-одно ухо" (второе ухо у него действи-тельно было полуоторвано). Он был, судя по всему, клиническим алкоголиком, но... не проходило боя над Баренцовым, в котором он не сбивал бы по "Мессер-шмидту". На его белом "Харрикейне" красовалось 17 звезд. "Рыжуха-одно ухо" назывался по штабным бума-гам "результативным легчиком". Можно ли такого спи-сать?

Однажды в летной землянке — глубокой норе в ска-ле — командир нашей особой-морской авиагруппы гене-рал Кидалинский (в ту пору, по-моему, еще полков-ник), огромный, как жеребец, и заядлый матерщинник, проводил так называемый "проигрыш полетов". Иными словами, учил уму-разуму. Лица пилотов выражали пол-ное внимание. Но на самом деле, никто генерала не слу-шал. Поговорит и — отбудет... Вот тогда и начнется серьезный разговор. Встанет груболицый и добро-душный лейтенант Шаталов, заместитель командира на-шей эскадрильи, и скажет категорически, почти как Чапаев из старого фильма: — Все, что тут... — выра-зительным жестом показывая, мол, это наплевать и по-забыть. Теперь слушай, что скажет ведущий группы.

Вот кому внимали, открыв рты...

Но пока что, поскрипывая бурками, базил власти-тельный генерал Кидалинский, и все смотрели на него, широко раскрыв глаза и очень почтительно.

Кое-кто только плечами поведет: землянка сырая, зябко. Да и сколько можно сидеть недвижимо, и в почтительной позе?

Вдруг поднялся, безо всякого разрешения, лейте-нант "Рыжуха-одно ухо" и, покачиваясь, кое-как пере-

ступая в своих белых собачьих унтах, зашел за спину генерала Кидалинского, где стоял в углу землянки ящик с желтым песочком, на случай тушить зажигалки, и... стал мочиться в песочек. Мочился шумно, обстоятельно.

Мы замерли в ужасе. Одно слово Кидалинского, и пойдет Рыжуха под трибунал. И не таких в бараний рог скручивали.

Мясистое лицо генерала начало принимать свекольный отлив, стало мокрым. Он вынул платок, вытер пламеневшее лицо, шею, и... нашел в себе силы волос пьяного лейтенанта Рыжухина не заметить. Продолжал водить по карте Баренцова моря указкой.

С той поры генерала Кидалинского на аэродроме Ваенга стали уважать.

А до этого и в грош не ставили. Ни как летчика, ни как человека.

Правда, не знали еще, что этой ночью погибло на другом конце нашего аэродрома все руководство 36-го полка дальних бомбардировщиков. Выпили все, в честь очередной победы, "ликер-шасси" и полуочищенной смеси из торпеды. Хорошо выпили... Выжил только один "технар", в баню с бельишком шел, по-дороге стаканчик опрокинул, а потом, на свое счастье, попарился.

Из Москвы тут же вылетела министерская комиссия. Для расследования.

36-й полк воевал героически — выжил. Выпил в честь победы — полег. Ужаснейший случай. Но — случай. А если к этому добавить еще летчика-истребителя Рыжуху из другого полка, да в соседних поскрести подобное, что получится? Весь аэродром Ваенга воюет... "не просыхая"!?

Нет, нецелесообразно Кидалинскому было замечать Рыжуху.

Узнали мы к вечеру о нашествии генералов-следователей из Москвы и стали лучше понимать генерала Кидалинского. По-человечески. И даже ценить.

Но любить — не любили.

Любили Ивана Яковлевича Шаталова, Иван Яка, как его все называли. Воинское звание Иван Яка упоми-

нали лишь в минуты дружеского застолья: "капитан-лейтенант"... Морское звание — в авиации небывалое. Фантастическое, как и сама морская авиация, которой к началу войны в СССР вообще не оказалось. Деревянные "старушки-эмберушки" — не в счет. Сгорели, как и не было. Пришлось воевать над морем Баренца на колесных машинах.

Вот тут-то и стал Иван Як незаменимым. Туман, дождь барабанит, синие тучи у сопок на прикол стали, — вылетает Иван Як, наперекор стихии, на обычном колесном Ил-4. С торпедой под брюхом. В ледяное море.

Идет над водой, как медведь-шатун по лесу, — рассказывали летчики удивленно, а порой завистливо. — Увидит подводную лодку — заломает. Встретится миноносец — расколется пополам. Одно слово, шатун.

Да и походочка у Иван Яка, особенно когда съедет на заднем месте по черному от копоти крылу, соответствующая. Покачивается. Косолапит. Идет быстро-быстро, руками разводит, точно через бурелом пробивается. Это он о бое рассказывает. Руками. Кто откуда заходил, под каким углом торпеда шла.

У Шатуна и волосы и щетина на круглых щеках белые-белые, можно заметить, что Шатун бреется раз в месяц, а можно и не заметить...

О Шатуне рассказывали легенды. Я тоже знал одну. Самую необычную, на мой взгляд. Но никому в те годы не рассказывал.

...В первые недели войны то было. Белоруссия. Наш аэродром закидывают бомбами... советского производства. От одной фугаски отлетело хвостовое оперение. На нем черным по белому "1924 г." Дураку ясно, что немцы захватили бобруйские бомбосклады. Склады, видать, стратегические, если в них хранится оружие времен Очакова и покоренья Крыма.

Капитан (тогда он был капитаном) Шаталов Иван Як с одинокой медалькой "Озеро Хасан" на своей широкой груди получил приказ бобруйские бомбосклады взорвать. Одновременно сообщили ему разведанные.

Над Бобруйском барражируют двадцать восемь МЕ-109. Барраж на разных высотах.

— Как же я проОскОльзну? — удивленно проокал Иван Як. — НештО я мышь...

Пронзительно-истеричный голос командира эскадрильи Котнова запомнился мне на всю жизнь:

— Родина требует жертв! Родина требует жертв!

Прорвался Иван Як в Бобруйск и взорвал советские стратегические склады оружия, брошенные на произвол судьбы: ни одного целого стекла в городе не осталось. Но это мы узнали потом. А пока что мы увидели шаталовскую машину, продырявленную зенитными снарядами насквозь. Видно, что Иван Як вышел из пикирования над самой головой зенитчиков, их снаряды прошивали фюзеляж, не взрываясь. Решето, а не самолет.

Убитого штурмана вынули из кабины, увезли. И тут подходит к капитану Шаталову комиссар нашего полка М., седой, тучный, прихрамывающий, и как закричит, задрожит всем телом:

— Вре-ешь! Не был ты над Бобруйском! Танковая зенитка прошила, ты и повернул назад... Не мог успеть за 18 минут 20 секунд взорвать склады и вернуться. Вот она правда, — и он поднес к Шаталову свои часы-секундомер.

Шаталов, как известно, человек северный, медлительный, нрава незлобивого, развернулся и вlepил полковому комиссару пощечину, звон которой, по-видимому, был услышан на многих аэродромах. Так что ничего удивительного не было в том, что теперь Иван Як воевал в звании не капитана, а лейтенанта, а летчики в Ваенге, ребята веселые, бесшабашные, величали его в подпитии по-морскому — капитан-лейтенантом...

Впрочем, давно бы уж вернули Иван Яку капитана, если б не был он "уж очень прост", как считали в штабе дивизии, и даже придурковат, в чем штабные убеждались все более.

Придурковатость его, сочувственно вздыхал Кидалинский, как шило в мешке, не утаишь. Проявлялась она по-разному, и, в частности, в том, что в изнуритель-

но долгие полярные ночи, когда тьма давит на душу, он доставал где-то женскую косынку и, то надевая ее на свою разлохмаченную голову, то снимая, голосил вологодские-онежские частушки. Наденет косынку и — прорет оглушающим низким басом — за молодуху:

— Ты не стой, пустой
Возле дерева,
Не ищи любовь,
Она потеряна...

Сорвет с нестриженной головы платочек, и — ”за парня.” Строчку пробасит — как гвоздь забьет:

— Что вы, девки, стоите.
Глазки вылупляете.
Сулите, не даете,
Все обманываете...

Срамных частушек не пел. Это — предел...

Голосит — притоптывает этак час — полтора, ни разу не повторяясь, завершая свои частушки всенародно известной припевкой.

— Здóрово, здóрово у ворот Егорова.
А у наших у ворот все идет наоборот.

Летная землянка корчилась от смеха. Офицеры-политработники из штаба ВВС флота приходили послушать. Хототали со всеми вместе. Крамолы, докладывали, нет, а вообще... придурковат.

История с ”голой девкой”, казалось, это подтверждала полностью.

В Ваенге стояло английское ”крыло”. Союзники. Молодые англичане-истребители, приводившие политуправление ВВС Северного флота в ужас. То вдруг заявляют, что война без женщин — не война. Где женщины? То устраивают вокруг аэродрома зимние катания на

санях, точнее, на громыхавшем железном листе, буксиром "виллисом".

Грому, звону, беспорядка, разбросанных бутылок из-под виски — начальник Политуправления распорядился: во время "английских безобразий" советским военнослужащим из землянок не выглядывать.

Улетели жизнелюбивые англичане, раздарив своим новым приятелям разные сувениры. Иван Яку досталась, как тут же донесли в Политуправление, "голая девка".

Это была прекрасная цветная репродукция на развороте какого-то журнала, явно не нашего журнала: Иван Як приколол ее в летной землянке, в своем углу.

Тут же началась шумиха. Телефонный трезвон: "Не мальчик. Тридцать два года человеку, а на стене "голая девка"! "Голую девку" снять!"

А как снять, когда на нее приходят поглядеть отовсюду, даже зенитчики с сопок, и все в восторге.

На второй день шумиха обрела привычные формулировки: "Замкомандира эскадрильи пропагандирует разврат..." "Политическая близорукость" "Моральное разложение"... Когда румяный капитан из Политотдела дивизии заявил, что это "идеологическая диверсия" и ринулся к картинке, протягивая к ней руки, навстречу ему закосолапил широченный Иван Як, дурашливо осклабясь и басовито напевая самую популярную в те годы в СССР кинопесенку: "Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля..." Политотделец огляделся затравленно: лица пилотов серьезные, сочувствия на них нет, понял — набьют морду. И исчез.

Тут уж сами пилоты решили идти на попятную. "Сними, Иван Як, — сказал кто-то из полумрака. — Иначе развоняются, святых выноси... Тем более, там какая-то надпись внизу, да вот, совсем внизу, мелкими буквами, не по-нашенски. Чорт его знает, какая там пропаганда-агитация..."

Иван Як, руки в боки, поглядел на голую диву прощальным взглядом и вдруг вскричал с надеждой в голо-

се, чтоб позвали "Земелю"... Какого "земелю"? Да студента!

Меня сдернули с нар, я шмякнулся об пол и до легкой землянки бежал изо всех сил, думая, случилось что.

Потребовали, чтоб прочитал надпись. Английского я отродясь не знал. В школе кое-как сдавал немецкий. Но латинские буквы — есть латинские буквы, и у меня сразу составилось по складам: FRANCISCO de GOYA y LUCIENTES"... Гойя! Уже легче! Дальше шло совершенно необъяснимое: "La таја пие..." Это "La" выбило меня из колеи окончательно. Значит, и не немецкий язык, и не английский... Из французского я знал только "Пардон, мадам" и "Пардон, месье".

— Земеля, я тут одну букву вспомнил, — участливо пробасил Иван Як, видя, что лоб у меня повлажнел: — "j" — это у испанцев как русское "х". Я воевал на Хасане, но готовили-то меня для Испании...

Испанский?! Наверное! Далее напечатано "97x190 sm Madrid, Prado". Спасибо, Иван Як! Итак, "маха ню..." Я почесал в затылке, и меня осенило: "Нудисты! Это которых милиция разгоняла в двадцатые годы. Они вышли на демонстрацию голыми и несли плакатик: "Долой стыд"."

Я сказал почти убежденно:

— Франсиско Гойя, "Голая маха".

Ответом мне был взрыв хохота.

— И так видать, что голая! — вскричала землянка. — К чему же надпись? Ты не финти! Не знаешь, не задуривай голову!

Я постоял потерянно, и вдруг вспомнил эту репродукцию. Я видел ее в толстущей книге с иллюстрациями, привезенной дядей из Америки. Потом книгу, конечно, изъяли, вместе с дядей.

— Так вот, — произнес я со сдержанным достоинством. — Франсиско Гойя, испанский классик. Репродукция с его всемирно известной картины. Называется "Обнаженная маха". Картина хранится в Мадриде, в музее "Прадо". Ее размеры 97 x 190 сантиметров.

В "Обнаженную" почему-то поверили. Сходу. Тем более, размеры привел. Цифры — дело точное.

Хотя из глубины землянки заметили придирчиво: голая — обнаженная, что в лоб, что по лбу, летчики двинулись всей толпой к дверям, к столику дневального, закрутили ручку полевого телефона. Сообщили в политотдел дивизии, что, мол, скандал получается. "Голая девка" вовсе не "голая девка", а классика. Гойя, испанец. Мировая знаменитость. Все равно, как у нас Репин-Суриков "Три богатыря"...

Вернулся румяный капитан из Политотдела дивизии, покосился на "Обнаженную маху" почти стыдливо, переспросил, правда ли, что Гойя в Испании, все равно, как у нас Репин-Суриков... — Та-ак! — протянул он, разглядывая потолок из струганых досок, с подтеками, и вдруг прокричал уличающим тоном: — А вот каких политических взглядов придерживался этот ваш Гойя, известно?!

— Республиканских! — прокричали из полумрака уверенно. — Его дети в Москве, в эвакуации.

Так "Обнаженная маха" на меловой иноземной бумаге и осталась в летной землянке. Законно. Священной реликвией. Щедрым даром союзных войск. Висела долго. Пока ее не украли.

История с "Обнаженной махой" окончательно убедила Политотдел, да и штаб, что Иван Як — гениальный летчик, мастер слепого полета, в обычной земной жизни — дурак-дураком. Политического чутья ни на грош. Морально неграмотен. Офицерской чести не сознает. Совершенно.

Это, казалось, подтверждалось и тем, что Иван Як полностью не воспринимал воинской субординации, вроде бы и не понимал ее. То ли "капитан-лейтенантство" обожгло его душу, то ли он всегда был такой. И с генералами, и с солдатами говорит, как с ровней.

Меня он, как известно, называл "земелей". Я никак не мог взять в толк, почему "земелей". Я москвич, он с реки Онеги... "Мы — однополчане", — как-то сказал я ему с категоричностью недоучившегося студента.

— ОдиОпОлчане — слОвО бумажнОе, — пробасил Иван Як в ответ. — В газетах так печатают... Когда летним утречком, под Мозырем, нас бомбили "Юнкерсы", помнишь, мы с тобой рядышком лежали, животиками к земле прижимались. Так бы и закопали рядышком, в белорусской землице, если б ветер не отнес бомбу к комиссаровой щели. Значит, земля.

Ну, земля, так земля!

Я был в торпедной дивизии новичком, и, как всякого новичка, меня гоняли в ночь-заполночь охранять самолеты, прочищать забитые снегом трубы, топить из снега воду, таскать самолетные ящики, сгружать бомбы, короче говоря, служба новичка известна: "подай — прими — пошел вон..."

Началось с печной трубы. Из штаба позвонили, чтоб выслали человека откопать офицерскую землянку.

— Чвек! — весело сказал мне старшина эскадрильи, не лишенный юмора хлопец. — возьми лопату и закопай эту проклятую войну к такой-то матери. А потом пойдешь в ночной наряд.

Он проводил меня вдоль оврага, утопая по пояс в снегу, и сказал:

— Еще двадцать шагов, и досчатая дверь. Пльви!

Я проваливался в снег порой по грудь, главное тут — не оступиться в овраг, занесенный снегом вровень с аэродромом. Оступишься, и — прости прощай!..

Наконец, различил во тьме деревянную дверь, постучал. Кто-то ответил мне, что рядом со входом деревянная лопата. "Отыщи ее и отгребай!" Отгреб снег! Ввалился к летчикам, от меня аж пар шел. Оказалось, это только начало работы. Забило снегом печную трубу, то-то вокруг сажей пахнет и дым стелется. Я взял длинный шест, сбросил свою тяжелую куртку механика: выскочу налегке, — решил, прощурую трубу, и мигом обратно... Хочу открыть входную дверь да выскочить. Не могу. Уже завалило.

На мои жалобные сетования, перемешанные с крепкими словами, сразу отозвалось несколько человек. Выплыл из дымного полумрака Иван Як.

— Зарыли нас живыми? Не дело...

Все вместе мы отбили снежный пласт, и я боком выбрался наружу.

Пурга хлестала колко. Опираясь на палку, влез на крутой наметенный бугор. Почти десять минут выбивал из дымохода слежавшуюся твердую пробку. Провалилась палка, наконец. Насквозь. Оттирая прихваченное морозом лицо, окоченевший, в одной фланелевке, начал пробираться ко входу. Но двери не было. Кругом мертвая белая целина. Пошарив наугад руками, вернулся к трубе и, сложив ладони рупором, закричал в узкое отверстие. Никто не откликнулся и не выходил. Пурга словно глумилась надо мной, взывала так, что я даже вопить перестал.

“Куда меня занесло?! Ляжешь ”подснежником” безо всякого приказа. Возле самого дома.”

Нет, это было бы слишком глупо.

Скатился ко входу с отчаянием, ломая ногти, стал отгребать-отбрасывать снег. “Была тут когда-то дверь или мне приснилась?!”

Двери не было. Тогда я повернулся к ветру спиной и, пригнувшись и стуча зубами от холода и страха, стал обдумывать, как бы все-таки не околеть... В ста метрах отсюда лестница вела в овраг, на КП дивизии. “Не прозевать лестницы! Не найду — хана!..”

Я сделал всего несколько шагов от землянки, когда в буране прозвучали отголоски знакомого голоса:

— ...эля!.. Земеля!...

Обернувшись, увидел мерцающий огонек карманного фонарика и стал пробиваться к нему.

Иван Як втащил меня в землянку, растер в своих лапищах мои руки и сказал удивленно:

— Ты что, дитя малое! Раздемышись... Хорошо, мне картежники голову не задурили...

Иван Як ушел спать, а я, затянув на куртке ремень потуже и захватив в своей землянке “винторез”, отправился на самолетную стоянку, коротать ночь...

...Через четыре часа, отстояв "собачью вахту", добред, с трудом переставляя ноги, до своего жилища — вместительной землянки "технарей", узкой и длинной, как забой в шахте. Маленькая лампочка, обернутая снаружи бумажным колпаком, освещала только тумбочку дневального. В темноте утопали бревенчатые заплесневевшие стены и сплошные двухэтажные нары, на которых спали все, кому война позволяла хоть ненадолго укрыться под накат бревен. К бревнам изнутри прибиты фанерные и картонные желоба, отводящие в сторону просачивающиеся струйки талого снега.

Отряхнувшись в коридоре, ввалился в землянку. Прошлепав валенками по непросыхающим доскам прохода, потянулся к печке.

Печка нам досталась в наследство от зеков, которых до войны пригоняли сюда взрывать скалы и сопки — строить аэродром. Бензиновая бочка, обмазанная глиной. "Технари" усовершенствовали "тюремный патент". Навезли из развороченного сгоревшего Мурманска битых кирпичей, умело обложили бочку — настоящая русская печь, только без лежанки.

Дневальный, как было у нас, механиков, по неофициальному ритуалу принято, прислонил меня, заледенелого с головы до пят, боком к теплым кирпичам, выдернул из-под моей негибавшейся деревянной руки длинный снежный ком — винтовку, поставил ее у печки, обложенной и обвешанной сырыми валенками и портянками.

Дух такой, хоть топор вешай.

Минут через пятнадцать руки у меня стали двигаться, и я принялся за свой оттаявший "винторез".

...Утро в землянке начиналось от всполошенного, во все горло, "командного" окрика, от которого люди вскакивали, еще не соображая, чего, собственно, от них хотят.

— Разоспались, мать вашу... По боевой тревоге! На разгрузку!

Выскочил из землянки. По летному полю рулил выкрашенный в белую краску "Дуглас" с красными

звездами, он разворачивался у стоянки; и до меня до-
несся молитвенный возглас начальника штаба Фисюка:

— Господи, наконец нас не возьмут голыми рука-
ми... — А потом его крик: — На разгрузку пятнадцать
минут!.. Прихватят "Дуглас" бомбежкой, головы не
сносить.

Оказалось, нам привезли автоматы ППШ, ручные
пулеметы, пехотные мины. Оружие было в больших де-
ревянных ящиках, которые каждому из нас вваливали
на спину, и мы, под возгласы "бегом-бегом!", оттаски-
вали их к красному флажку, воткнутому в снег; и тут
же снова мчали к "Дугласу".

Железные уголки ящиков задевали за самолетный
люк — мат стоял многоэтажный.

Изошрялись в ругани все, а больше всех выш-
коленный штабист Фисюк, который знал, что летело к
нам звено "Дугласов", три машины, а одну сбили наши
же легчики. По ошибке.

Сбросив с плеч очередную тяжелую ношу, от кото-
рой ломило позвоночник, я кинулся обратно к само-
лету.

В это время на снег спустился легчик Дугласа. По-
тянулся, разминаясь, и, не торопясь, утомленно, стащил
с головы кожаный шлем. Лицо круглое, волосы кудря-
вятся.

Я оцепенел.

— Ребята! — закричал вдруг диким голосом. — Не
материтесь: легчик — баба!..

Спустя четверть века, в Клубе писателей Москвы,
где впервые показывали нашу картину "Места тут ти-
хие", о боях в Заполярье, ко мне подошла широченная в
бедрях женщина с веселыми умными глазами и спро-
сила, не я ли кричал на все заполярье, чтоб не матери-
лись: "...Легчик — баба!.. Не помнишь?"

И захотела хриплым прокуренным голосом, по-
луобняла. А уж мне шептали со всех сторон, что это
Валентина Гризодубова.

Старый друг — лучше новых двух — потянулась с
того дня ниточка, а куда приведет, скажу в свое время...

Каждое утро нас подымали, как уже говорил, диким, полузвериным криком, но чтоб вот так — не помню. Я был в наряде, что ли, свалился поздно. Меня трясли, дергали сразу шесть рук. Пока продирали глаза и просыпался, уже сняли с нар и принялись натягивать на меня ватные штаны...

— Быстрее! Сгорел моторчик!.. В десять вылет. Да быстрее же, мать твою...

Уже нахожу, пританцовывая то на одной ноге, то на другой, сунул их в валенки и бросился к выходу.

Оказалось, штурман сжег электромоторчик, подгоняющий патронную ленту. Раскудахтались! Новая техника — новая морока... Штурман в комбинезоне и коричневом шлеме с шелковым подшлемником, высунулся из верхнего лючка, и меня как в грудь ударило чем...

Скнарев! Александр Ильич! Штрафник. Пятьдесят шесть суток в камере смертников отсидел, расстрела ждал за чужую вину, а тут, как на зло, техника ножку подставляет...

Я мчал к старту, как олень, перепрыгивая через ящики со снарядами и проваливаясь в воронки, занесенные поземкой. Техническая сумка из брезента колотилась о мою спину. Махнул рукой Скнареву, который по-прежнему выглядывал из штурманского лючка в тревоге. Мол, сейчас-сейчас. Не беспокойтесь, Александр Ильич!

Начальник штаба ВВС Северного Флота, хромой старик, генерал-майор Карпович (видел его как-то) разрешил штрафнику Скнареву на свой страх и риск вылететь с прославленным Шаталовым на "свободную охоту". Иван Як просил за него, да и без того было ясно, что нет на всем Северном Флоте лучшего навигатора, чем Скнарев.

Генерал Кидалинский не одобрял либерализма Карповича. Штрафнику — столько чести...

Не дай Бог, теперь из-за Скнарева задержится вылет. Пришьют саботаж. Всем!..

Вокруг дальнего бомбардировщика ИЛ-4Ф, маши-

ны самой для меня прекрасной, о трех ногах и двух моторах, заляпанной сверху грязновато-белой краской (камуфляж!) стояло, нервно переминаясь, почти все начальство Большого аэродрома. Желтолицый язвенник майор Фисюк, в черных очках — "консервах", толпище незнакомых полковников с заспанными недобрыми лицами.

Я достал из своего необъятного кармана никелированную отвертку, и, унимая тревогу, подумал с чувством собственного достоинства:

— Мечете икру, а дело ни с места. Ждете мастерового...

Майор Фисюк и полковники из штаба поочередно влезали на стремянку, просовывали головы в нижний люк, изредка переводя взгляд на часы.

Новый моторчик прилаживался успешно, и они удовлетворенно молчали. Но вот срывалась отвертка или падал на дно кабины или на снег шурупчик — и всех охватывала нервная дрожь. Полковники вновь взглядывали на циферблаты и хмурились.

Снизу за моей работой следили еще человек восемь, среди них Иван Як в своих рваных собачьих унтах, и я разволновался всерьез. Чаще срывалась отвертка, как на зло, не совмещались отверстия рамы и моторчика.

— Задержались на две минуты и сорок секунд! — угрожающе произнес майор Фисюк. Моя отвертка тут же грохнулась о дно кабины.

Я схватил ее, пытаясь приноровиться и встать спиной к прожигавшим меня полковничьим взглядам.

— Какого лешего уставились на его руки?! — пробасил снизу Иван Як, и сразу встали шурупы моторчика куда надо.

Я спрыгнул со стремянки, бросил на снег техническую сумку и козырнул начальнику штаба:

— Машина готова к полету!..

Иван Як взобрался по стремянке на крыло и буркнул в сторону начальника штаба:

— И чего, старина, икру метал? Белую булку, что ль, с утра не привезли?..

Полковники усмехнулись, майор, старый язвенник, пригрозил Иван Яку кулаком, но, все понимали, по-доброму.

Спустя две минуты от огромного самолета осталось на земле только снежный вихрь.

Иван Як вернулся часа через три, к нему тут же помчалась, подскакивая на ледяных натеках, скорая помощь.

Боже, как несся я к самолету! Решил, Скнарева ранило или убило! Нет, скорая помощь увезла нижнего стрелка, рука которого безжизненно свисала с носилок.

Газик с рваным брезентовым верхом увез экипаж в подземную столовую перекусить, но тут же по тревоге доставил обратно. Штабной бежит с радиограммой из штаба флота: немедленно вылететь на разведку. Скнарев, Иван Як и дядя Паша, рябой мордастый стрелок-радист, сверхсрочник, торопливо дожевали свои бутерброды, полезли, было, по стремянке вверх, да тут же спустились: нижнего стрелка-то нет. А нового не прислали.

Ищут замену, а запасной воздушный стрелок был в тот день посыльным в штабе, угнали его куда-то с бумагами.

Двадцать минут прошло, полчаса. Отошли к курилке, стоят рядышком. Скнарев и Иван Як плечами друг друга поддадут, греются.

В землянке они резко отличаются друг от друга. По одежде хотя бы. На Скнареве выгоревшая солдатская гимнастерка, обмотки. Иван Як со своим морским кителем, с орденским перезвоном, — барин. А тут оба в одинаковых зимних комбинезонах. У Скнарева — новенький. Карманы и на груди и на коленях. Скнаревский планшет с картами под целлулоидом на длинном брезентовом ремне.

У Ивана Яка комбинезон с заплатой на локте, лоснящийся; коричневый шлем — тонкий, в обтяжку, истертый на затылке до белой подкладки, видать, с японской кампании привез. И очки оттуда, маленькие, круглые — "очки-бабочки", довоенные очки, теперь та-

ких не делают; бережет Иван Як и шлем, и очки, верит — счастливые...

Лица у Скнарера и Иван Яка чем-то сродни. Грубоватые, широкие, плоские, лопатой — мужицкие. Подбородки — церковные замки. Родня, вроде.

А приглядишься... У Скнарера глаза неподвижные, как у слепца. Неулыбчивые. И какие-то виноватые, что ли? "Козью ножку" изо рта не выпускает, зубы от махры черные. А ведь выдают штурманам "легкий табак". Нет, крутит по-солдатски, по-тюремному, "козью ножку"...

Привык, да и отвыкать не хочет. Как еще повернется?..

У Иван Яка тоже скулы и уши вразлет. И папироску сосет, не выпуская. Глаза цвета голубого пламени, холодноватые. Смотрит на собеседника недоверчиво-испытующе. Мол, что за фрукт... Широкий, с мясистыми ноздрями нос то и дело вздрагивает. Не то Иван Як чихнуть хочет, не то посмеивается про себя...

О майоре Фисюке и говорить нечего, даже полковники из дивизии обращаются к Иван Яку осторожно-почтительно...

А улыбнется, и сразу другое лицо у Иван Яка, светлая у него улыбка, приятная, глаза теплеют, светятся живым огнем. Не Иван Як, сама доброта, подходи, не бойся...

Так уж сложилось, что я видел Иван Яка чаще всего улыбающимся. Или поющим. Есть такие безудержно-веселые люди, не очень задумывающиеся о жизни, и мне казалось, что наш бесстрашный добряк-командир из таких.

Полчаса прошло, Иван Як уже из плоской бутылочки отхлебнул, и Скнареру протянул, тот отказался. Ковырнул Иван Як аварийный паек, вытянул оттуда шоколадку (только Иван Яку разрешали "разорять" аварийный борт-паек, да и не разрешали вовсе, а смотрели сквозь пальцы...)

Из губы Полярной, где находится штаб Северного Флота СССР по всем видам связи — гром и молния... По-

чему не вышел самолет-разведчик?! Немцы вот-вот начнут операцию против союзного конвоя, а никто ничего не знает!

Фисюк бегаёт белый как смерть. Иван Як махнул в его сторону рукой, толстые губы скошил в язвительной усмешке.

А вот, вижу, и Скнарёв встревожился, повел плечами, как от холода. Дело-то не шуточное...

Я был технической "обслужкой", младшим авиаспециалистом, бросил на землю свою техническую сумку и подошёл к Иван Яку вполне официально:

— Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант. Раз такое дело, могу слетать нижним стрелком. Пулемет "ШКАС" сдавал ещё в школе. Кабину знаю.

— Земеля, — пробасил он добродушно. — Так ведь это дело!.. Александр Ильич, не против?..

Александр Ильич Скнарёв только улыбнулся мне: на что Иван Яку его одобрение!

Хотя техник звена и мямлил что-то протестующее (и без того специалистов не хватает и как бы из штаба полка не намылили шею), но тут же стал прилаживать ко мне парашют: в конце-концов отвечает не он, технарёв, земная власть, а командир.

О строптивых летчиках вообще давно существовало на Большом аэродроме у технарёв цинично-грубое присловие: "лети-лети, мать твою ети..."

Это был мой первый вылет с полярного аэродрома Ваенга, прямо скажу, памятный... Правда, мутило меня весь полет, и думал я первые час-два более всего о том, когда, наконец, приземлимся. Да и посадили ведь в плохо оттертую кровь, остались брызги и на стволе, и на патронной ленте.

Может, от крови этой и началось. Никогда так не мутило. Только поднялись, ушли в сизое облако, ничего не видать, самолет пошвыривает вниз-вверх, все вокруг дребезжит, давлюсь, затыкаю рот рукавом своей куртки, провонявшей бензином и маслом; и вдруг слышу в ларингофоне участливый голос Иван Яка.

— Земеля, если что, скидай валенок, и в валенок!

Выскочили из снежного заряда; море, как сажа, облака над самой водой, мчат навстречу, бегут наперегонки. Сто пятьдесят, сто метров показывала стрелка высометра. Дрогнула. Сто. Восемдесят... Наконец, и вода пропала. Застелило ее белой дымкой. Снежный град влетал в открытый лючок, обмораживал щеки.

Высота двадцать метров! Ё — моё!..

Самолет вздрогнул, его повело в сторону.

— Что у нас? — спросил стрелок-радист дядя Паша.

— Обрезает правый. Видно, обледенел карбюратор. Сейчас мы его погреем, родимого. — Иван Як полез вверх. Дрожат моторы, бьются, как кони в непосильной упряжке, выскочили из сизого облака и вдруг — крутая скала перед самым носом. Темная скала, в снежных расщелинах, — стеной. Неужто в лепешку?

Тянет "Ильюшин" вверх. Аж черный дым из патрубков. Гранитный скат под брюхом, кажется, рукой дотянешься... Нет конца граниту. Мчат и мчат навстречу серые глыбы. Теперь уж все дребезжит, и моторы, и крылья, и даже зубы.

И вдруг оборвалась скала, мелькнул внизу пенный прибой.

— Слава Богу! — воскликнул дядя Паша. — А то я думал, сядем мы на камушек верхом.

— Варангер... — негромко, с хрипотцей произнес простуженный Скнарев, и закашлялся.

— Э, нам он не нужен и в страшном сне! — пробасил Иван Як и ушел от него прыжком через скалистое плато. Миновал набитый зенитными пушками Варангер-фиорд, снова заложил крутой вираж — к морю.

Опять полощется Баренцево.

Штурман включил плановый фотоаппарат. Нет кораблей. Пустое слепящее море, скалы, и вдруг видим, царапается вдоль крутого берега гидросамолет с черными крестами на крыльях. Летит так низко, что, кажется, белые барашки волн до его поплавков доплескивают.

— Схарчим? — деловито предложил Иван Як.

— Можно, — неохотно отозвался Скнарев. — У нас, Иван Як, и без того дел...

Засвистело в ушах — так круто на вираже снизились. Скнарев из своего сдвоенного "шкаса" прошил немца броневойно-зажигательными. Тот вспыхнул черным огнем. Отвернул к берегу, тянет-тянет, не садится на воду, только у самого прибоя упал на камни и взорвался.

Не ведал я, что он успел дать радиограмму. Но Иван Як сообразил. Две металлические пластинки "ларинга", плотно прижатые к его горлу, передали его вздох, а затем сипловатое бурчание.

— Ну, подымут Осиное гнездо. Прочешут БаренцОВО. Пойдем, Саша, подале От моря. Через сушу. На бреющем...

— Курс... градусов, — тут же отозвался Скнарев.

Самолет летел так низко, что я мог спокойно поглазеть на Норвегию, которую мы, похоже, пересекали поперек. Расслабился малость. Если б только не ком в горле. В кабине пахло нагретым плексигласом, еще чем-то острым, от этого выворачивало еще сильнее.

За желтоватыми стеклами фюзеляжа проплывали скалистые выступы, сопки в однообразных белых балахонах. Ветер, откинув их снежные капюшоны, обнажил серые плешины прибрежных скал. Прилив смыл снег с подножий, и они стояли рядом, плечом к плечу, хмурые, пятнистые, ссутулившиеся.

Проглянуло солнце. Заискрился снег под крыльями машины. Иван Як набрал шестьсот метров и развернулся.

— Выше! — в застуженном голосе Скнарева прозвучали властные нотки. — Здесь шестьсот восемнадцать метров — гора Хайглетярра!

Иван Як поднялся к самой кромке перистых розоватых облаков и начал пересекать фиорды. Промелькнули черные крутые, как стены, берега Тана-фиорда. Белая кромка дышит, пенится, а вот пошла изгибом, точно на острую, выступом, скалу заброшено ожерелье из кораллов. Красиво сказочно!

— Стрелки, воздух?
— Воздух чист, — отрапортовал дядя Паша. И я следом.

И вдруг в наушники ударила, именно ударила, а не зазвучала низкая басовая нота. Ларингофоны даже дышание передают, а уж такой басыще...

— О ска-алы гро-озные дробятся с ревом волны
И с бе-елой пеною, крутятся, бегут наза-ад...

Господи Боже, это же Иван Як?!

Я был убежден, что он в своей жизни ни одной оперы не слышал. Уж текста-то арий не знает, точно. Его стихия: "Здорово, здорово у ворот Егорова..." Тут он высший авторитет и судья.

Всего можно было ждать в этом муторно-долгом полете, даже смерти, но не "Песни варяжского гостя". В исполнении Иван Яка.

—...Но го-ордо серые утесы выносят волн напо-ор,
Над мо-рем стоя-а...

Не сразу затих басыще; низко, с органной силой и торжественностью литургического обряда звучала в ушах чистая человеческая радость, созвучная этой ошалелой гранитной красоте и мощи да, пожалуй, и дерзости прорыва одинокого разведчика, от которого в любую минуту может остаться лишь столб черной гари, разносимой ветром.

...Штурман покашлял, нарушая торжественность минуты.

— Иван Як, какого лешего ты утужишь воздух над Норвегией? — наконец сказал он. — Свободно мог петь в Академическом Большом театре...

— Свободно петь, Александр Ильич, можно только над Норвегией. Уж кто-кто, а ты это знаешь.

Я затих. И испугался: говорили, дядя Паша стучит по-тихому. Это оказалось правдой, но дядя Паша на своих не стучал.

— Барраж над фиордом! Два "Мессера"! Высота 200! — восклицание дяди Паши оборвало "норвежский" диалог Иван Яка со штурманом. Поддали моторы — Иван Як ушел в облако и снова вынырнул лишь у какого-то узкого фиорда.

— Эт-то должен быть Порсангер-фиорд, — прохрипел Скнарев. — Точно! Вот Лаксэльвен! — Рядом с рыбацким поселком Лаксэльвен, на тыловом немецком аэродроме Банак всегда стояли наготове "Мессершмитты" и бронированные "Фокке-Вульфы".

Как только Скнарев опознал по красным и зеленым крышам, облепившим фиорд, какое под нами селение, он добавил не без тревоги:

— Иван Як, ноги в руки!..

Моторы на форсаже взревели и забились, как гончие, почуявшие цель. Штилевая темно-зеленая вода слепила, как зеркало.

Мы болтались в воздухе уже часа три, я держал валенок, как священный сосуд, — прямо...

— Устал? — посочувствовал мне дядя Паша. Он пригнулся ко мне, обмакнул палец в желтоватую воду, скопившуюся на дне кабины, протер свои воспаленные глаза, которые, видать, давно резало от напряжения.

У всех летчиков Заполярья были такие красные, слезящиеся глаза, и у Ивана Яка, и у Скнарева, а темные очки-"консервы" носил только начальник штаба майор Фисюк, который никогда не летал. Вначале это раздражало. Потом привык...

Далеко слева проплыл сверкающий цветными крышами деревянный Гаммерфест — самый северный город на земном шаре, огороженный с моря ожерельем заградительных бон. Самолет входил в неведомое мне, за морями-за долами, Лопское море.

— Курс норд-вест... градусов, — просипел Скнарев.

Круто, я едва удержал свой валенок, развернулись почти на полюс и наконец увидели американский караван, идущий развернутым фронтом.

Зрелище это незабываемое, торжественное. Во всю ширину Баренцева моря, кажется, до ледяной

кромки, идет огромный конвой. Белые буруны кипят на черной воде. Коричневые дымы столбом.

Над каждым транспортом висит на железном тросе аэростат воздушного заграждения.

Тральщики, чуть поодаль друг от друга, дымят впереди...

За ними эсминцы, узкие, как борзые. Водяными блохами снуют катера противовоздушной обороны.

Американские транспорты "Либерти" сидят тяжело. Дымят густо, сажей.

— Александр Ильич, прикинь ордер конвоя. Похоже, весь английский королевский флот вышел на рыбную ловлю... Паша, отбей Кидалинскому пеленг союзников! Все! Пусть гонит свое воинство на Хебугтен, пока не поздно...

Хебугтен был стратегическим аэродромом, вроде нашей Ваенги, только немецким; там ждали англичан восемьсот пикировщиков "Юнкерс-87", которые сожгут, утопят этот караван, если их не прихватить на земле.

Иногда Хебугтен бывал пуст. Значит, английский караван пробивался Средиземным морем.

А ныне ждут здесь. С прошлой пятницы. Весь пятый воздушный флот, видать, вернулся. Фисюк показывал Скнареву мокрые фотографии. Хебугтен напоминал на них длинную ленту липучей бумаги, черной от мух...

— Координаты каравана приняты! — деловито сообщил дядя Паша.

— Добро! Закипела Ваенга, — пробасил Иван Як и, заложив крутой вираж и нырнув в облако, двинулся домой, как я думал. Разведчик свое дело сделал.

Не тут-то было...

— Курс... градусов, — протянул Скнарев утомленно, похоже, даже зевнул. — Операция номер, — он произнес шифр, — снимаем плановым АФА-12...

— Это что такое? — бестактно спросил я.

— Кто ж его знает, земля. Темна вода в облаках.

Только после войны узнал, что нашей целью была именно вода. Только "тяжелая". Гитлеровцы, готовясь

запустить атомный котел, хоронили свою "тяжелую воду" в норвежских скалах, где, считали, никто искать не будет.

И вот перевозили куда-то "тяжелую воду". Скорее всего, часть ее. Летом англичане еще раз подрывали "тяжелую воду" на каком-то озере. Год-два упустили б, возможно, была бы у Гитлера атомная бомба.

На занесенную снегом скалу, из недр которой вытягивали на армейских вездеходах огромную, с прямыми гранями цистерну, мы вышли секунда в секунду.

Лощина горела. Черный дым стелился над снегом. Вездеходы были перевернуты, раскиданы, чадили. Кто-то бомбил до нас. Может, Карельский фронт. Может, американские "летающие крепости".

Наше дело телячье — привезти снимки. Две бомбы, правда, взяли. На всякий случай.

— Влево 5 градусов, — просипел Скнарев. — Ложись на боевой! Включаю АФА-12. Стрелки, не зевай!

Дядя Паша начал лупить из своей оглушавшей меня пушки "ШВАК", и я, следом, короткими очередями. По вспышкам зениток...

Эти "водяные" дали нам прикурить. Разворошил кто-то гнездовье, а нам расклебывать.

Застучало осколками по крыльям, по фюзеляжу, машина вздрогнула, как раненый зверь. Потянуло ветерком из пробитой обшивки и... острым запахом масла.

— Маслобак?! — встревоженно воскликнул дядя Паша.

— Порядок, — ответил Иван Як.

"О-ох, тогда, похоже, масляные амортизаторы шаси в клочья, — мелькнуло у меня, — как садиться будем? Без колес..."

Дядя Паша кончил стрелять и, оглядев белесые небеса, прокричал мне напряженным тоном, что все только начинается. Нас засекли трижды, и теперь ждет не дождется дальнего разведчика Луостари — фронтовое стойло "Мессершмидтов".

Луостари, действительно, нас ждало; когда мы про-

ходили как можно дальше от него и ближе к ледяной кромке Баренцева моря, увидели — идет наперехват, густо, как казачья лава, сорок, пятьдесят "Мессершмиттов"... Четверо "Мессеров" спикировали на нас со стороны солнца невидимыми, но не сбили, а встали со всех четырех сторон как конвой... Иван Як налево пытается свернуть, слева гремит предупреждающе красная трасса. Вниз клюнул — зелено-красный огненный веер на пути...

Иван Як деловито передал по радио, что "Мессеры" взяли нас в "коробочку"; добавил совсем уж не по уставу: "Везут, как Пугачева, в железной клетке!"

Только позднее узнали (Иван Яку еще до полета сообщили), что на север Норвегии прибыл с инспекцией не то маршал Геринг, не то еще какой-то маршал, и это к нему на высокое совещание и слетались со всей Лапландии немецкие генералы. В том числе, на гидросамолетах...

Гидросамолет с генералами из штаба Главнокомандующего Лапландской группировкой Дитла был сбит советским бомбовозом, известным тихоходом, вопреки всем правилам. Это вызвало в немецком штабе ВВС такую ярость, что было приказано экипаж доставить живьем.

И вот нас волокут. У них скоростенка известная — 450. У нас — 260. По стрелке вижу. На пределе идем. Все дрожит, точно на телеге катим по булыжнику. Я поглядел в левый плексиглас — напряженное худое лицо немецкого пилота, косится в нашу сторону настороженно. Чуть подал "Мессер" вперед, его фонарь вспыхнул на солнце.

А с другой стороны пилот-мальчишка. Этого вижу особенно хорошо. Шлем на затылке, торчит светлый чубчик. На его круглом лице восторг. Рот открыт, не то кричит, не то поет...

Не один Иван Як изредка затягивает. И они поют...

Я в этот момент не пел. Это точно. Я плотнее надел шлем с наушниками, чтоб не прозевать какой-либо команды.

Команд никаких не было...

Тишина. Не слышать бы никогда такой тишины... Уже белые, в снегу, норвежские берега замаячили, а по-прежнему тишина. Она стала давить мне на виски. Эта тишина, заполненная до краев обложным, саднящим душу ревом "Мессершмидтов".

— Штаб радирует, — торопливо сообщил дядя Паша.
— Сейчас расшифрую... Ух, там суета-маята...

Пожалуй, можно было и так назвать то, что происходило сейчас в штабе Военно-воздушных сил Северного флота, расположенном в губе Грязной, в непробиваемой бомбами гранитной скале. Несколько матросов-радиистов, телефонистов, шифровальщиков, вестовых, писарей, сменившись, рассказали шопотом своим ближайшим друзьям и подругам, что было в "гранитном штабе", а те, в свою очередь, своим дружкам. Через неделю об этом знала вся Ваенга.

Радиист протянул начальнику штаба необычное сообщение: "Везут, как Пугачева, в железной клетке".

Начальник штаба Карпович, единственный в штабе генерал в годах, ходивший по бетонным коридорам в меховой безрукавке, прихрамывая, опираясь на трость, подержался рукой за сердце и поспешил к командующему ВВС Северного флота генерал-полковнику Андрееву.

Командующий прочел сообщение самолета-разведчика, выдернул из пачки папиросу "Беломор", начал ее мять крупными белыми пальцами. В эту минуту звякнул красный телефон без диска. Адмирал флота Головкин сообщил командующему ВВС, что он находится у летчиков на КП генерала Кидалинского.

Головкин интересовался "домашними делами", как он это называл.

Не было у адмирала флота Головкина головной боли, мучительнее вот этой "домашней".

В глубине Арктики, за две тысячи километров от своих баз, немецкие подводные лодки жгли радиостанции зимовщиков и топили суда, которые перевозили лю-

дей и заводское оборудование из Архангельска в Норильск.

Как они могли попасть туда, немцы? Радиус действия крейсерских немецких лодок известен. По разведанным ни одна не была способна достичь Карского моря. Но они там — были...

Беспокойство не оставляло адмирала Головки и его штабных. Они знали, что в 1940 году, вскоре после "миссии" Риббентропа в Москву, прошел Северным морским путем, с ведома Сталина и по его специальному разрешению, военный корабль под немецким флагом. Новую Землю он обогнул с севера, исследуя состояние ледовых полей и, как нетрудно было понять, решая еще какие-то свои особые задачи... Один из старейших офицеров-североморцев заметил тогда с шутливой интонацией, что немец отправился по *сталинскому маршруту* — это стоило шутнику жизни...

Больше никто так не шутил.

После 22 июня 1941 года "сталинский маршрут" немецкого корабля стал в советском военно-морском архиве документом высшей секретности. Считалось, что *такого не было*, хотя именно по этому преданному забвению маршруту искать бы и искать базы вражеских подводных лодок на своей земле...

Штурман-штрафник Скнарев так и доложил: "процесывать" надо север Новой Земли и острова Франца Иосифа, изрезанные бухтами.

Это и подтвердилось... после войны, когда немцы передали победителям карты минных полей.

А в войну вызывал адмирала Головки в Москву Сталин: транспорты в Карском море по-прежнему подрывались, тонули, и люди гибли.

— ... Новых данных не поступало, товарищ адмирал флота, — четко отрапортовал в телефон генерал-полковник авиации Андреев.

— Вы по-прежнему считаете докладную Скнарёва обоснованной? — спросил Головки после некоторого молчания.

Генерал-полковник авиации Андреев, прямой, ли-

шенный "штабного политеса" человек, стал мокрым, хоть отжимай.

Штрафника Скаррева вели в плен. Именно в эти секунды. Что сообщат о военнопленном Скарреве через час? Какотреагирует Москва?

— Я не изменил своего отношения, — не сразу ответил он. — Но, товарищ адмирал, существует мнение, что немецкие базы на советской земле, — возможно, лишь игра воображения штрафника, ищущего искупления...

Трубка не отвечала так долго, что Андреев подул в нее; затем сообщила, что в штаб ВВС флота выехал генерал-полковник береговой службы Рябов.

Иван Рябов был начальником Главного Политуправления Военно-морских сил СССР, налетал из Москвы "грозовыми" инспекциями на все действующие флоты.

Говорили, что Иван Рябов похлебал до войны тюремной похлебки, — одних, случается, это смягчает, другие — звереют. Ивана Рябова вспоминали на всех флотах со страхом и называли не иначе, как Иваном Грозным.

... — Капитан Шаталов вернулся? — спросил адмирал Головкин, в заключении разговора. (Все, кто был в кабинете командующего ВВС отметили про себя, что Шаталов получил еще по звездочке на погоны.)

— Нет, не вернулся, товарищ адмирал флота. Последняя радиограмма: "взяли в коробочку". Ведут на Луостари.

— Отбить Шаталова! Всеми средствами — отбить!

— Пытаемся, товарищ адмирал флота. Но... как вам известно, все полки после шаталовской радиограммы ушли на Хебугтен и Банак. Впервые бомбим аэродромы тонными бомбами... Осталась лишь дежурная эскадрилья капитана Бурматова. Она уже в воздухе.

— Прорвется Бурматов?

— Над Луостари барраж — девяносто два "Мессершмидта", эшелонированный по высоте. Мне горько об этом докладывать, но капитану Шаталову может помочь только чудо...

Судьба долгожданного каравана союзников из американских, английских и канадских судов, с которого Москва не спускала глаз, была настолько важнее жизни и смерти одного экипажа, что адмирал флота Головкин пробасил безо всяких эмоций: "Добро", и — трык — отключился штаб Кидалинского...

Командующий ВВС Андреев прикурить так и не успел. Он пододвинул микрофон и тяжело, с усилием заговорил прямым текстом, без шифровки (к чему теперь шифровальные коды!):

— Капитан Шаталов, тебя ведут в плен... Твое решение?

В ответ прозвучало неслыханное:

— Поступаю по погодным условиям, товарищ генерал-полковник авиации.

— То-есть как?!

Но Шаталов более не отвечал.

Андреев побагровел и вызвал к себе начальника штаба, а затем прокурора ВВС Северного флота. Прокурор, крупный, лысоватый полковник с большущим блокнотом в руках, явился немедленно и, усевшись сбоку от стола и закинув ногу в хромовом сапоге на другую, тут же начал писать. Быстро. Безо всякой диктовки.

Начальник Особого управления доложил о себе (хотя его и не вызывали) и, каменно-невозмутимый, встал в дальнем углу, у дверного косяка.

Начальник штаба ВВС Карпович, зябнувший в своей меховой безрукавке, покосился на "особиста" и произнес, ежась, держась за сердце:

— Я же говорил, нельзя пускать штрафника в свободный полет. Тем более разведывательный... Это... это... риск, граничащий... — не договорил, с чем именно граничащий. Бормотнул только: "Бутерброд всегда... маслом вниз."

Явившийся вместе с "особистом" начальник политуправления ВВС, маленький, грузный, шумно, с присвистом дышавший полковник Суслов, обтер платком свою круглую, как арбуз, голову с детским пушком на апоплексическом затылке; с отвращением взглянул

на многочисленные орденские планки начальника штаба, концы которых торчали из-под меховой безрукавки.

— Всего забрызгал слюной! — Он еще раз обтер платком лицо и голову. — Лично ты, начальник штаба, дал санкцию, лично ты поверил штрафнику, а теперь брызгаешься.

Карпович, видать, осознал — чему быть, тому не миновать. Вызвал по внутренней связи начальников отделов и скомандовал им:

— Поменять все коды, все волны связи с наземной разведкой. Все расписание боевых вылетов... Все! — И обреченно опустил на стул, бормотнув свое: — Бутерброд... маслом вниз...

Прокурор строчил, не переставая; особиста словно приморозило к косяку бронированной двери.

Генерал Карпович обхватил пепельно-седую голову руками. В голосе его звучало неподдельное страдание:

— Как же так, Иван Як...

— Штрафник завел, — каменно-спокойно объяснил начальник политуправления, глядя на свои загнутые вверх носки флотских ботинок. — Он завел, штрафник. А медведюха этот, Шаталов, не опохмелился с утра, голова как чугуном налита. Вот и влипли...

Длинное породистое лицо командующего стало огненно-багровым, точно он сидел не в своем "гранитном штабе", а в кабине горящей машины.

Радист снова доложил, что Шаталов не отвечает.

— Кто у него стрелком-радистом? — Полковник Суслов проскрипел ботинками туда-сюда... — Сверхсрочник Павел Гром? А, веселый хохол! Этот — верный патриот. В руках у него пушка "ШВАК"... Разрешите, товарищ командующий?

Командующий молчал. Поглядел в сторону приоткрытой двери, прислушиваясь к чему-то. ...Наконец, кивнул.

Начальник политуправления приблизил свои губы к микрофону командующего и начал кричать:

— Стрелок-радист Павел Гром! В твоих руках мощное оружие, гвардии старшина! От имени Родины при-

казываю не допустить пленения экипажа. Вплоть до крайних мер. Понял, гвардии старшина?! Огонь по измене!

Радист, сидевший сбоку, переключил тумблер, и принялся повторять тусклым голосом:

— Прием!.. Прием!.. Прием!..

— Та-ак, не хочет нас слышать бывший гвардии старшина. — Начальник политуправления Суслов стукнул одним своим кулачком о другой. — Кто у Шаталова нижний стрелок?

— Убили нижнего стрелка, — пояснил штабист, стоявший "на подхвате" у полуоткрытой двери кабинета. — Посадили какого-то "технаря".

Командующий ВВС, выбросив третью спичку, наконец, заметил, что чиркает по коробке не серной головкой, а противоположным концом. Но никто не видел оплошности командующего. Генерал-полковник авиации Андреев, наконец, прикурил, обронив с яростью, относившейся явно не к тому, о чем говорил.

— Уничтожить техсостав, кто дал право?! Половина матчасти разбита, устарела, выработан моторесурс. Вы что, не знаете, сколько машин остается на земле из-за технической неисправности?!.. Нехватает воздушных стрелков? Начальник штаба, немедленно послать заявку на стрелков!

— Есть, послать немедленно!

Начальник политуправления вытер платком свой детский пушок и крикнул в дверь, чтоб связались со штабом пятой торпедной дивизии: кто пошел с Шаталовым нижним стрелком?

Ответа не было долго. Наконец оперативный дежурный из пятой дивизии сообщил, что нижним стрелком вылетел сержант Свирский.

При слове "сержант" командующий спокойным жестом стряхнул пепел в стеклянную пепельницу, и все поняли, что из-за солдата и разговора не будет. Не то, что копы ломать...

Через секунду оперативный почему-то позвонил снова, сообщил пространнее, похоже, читал документ:

— ...Сержант срочной службы Свирский Г. Ц., младший авиаспециалист. — И после короткой паузы. — По национальности еврей.

Подробности эти не вызвали на лицах штабных никаких эмоций. Командующий ВВС затянулся сигаретой, медленно, клубами, выпустил сизый дымок.

Только прокурор вдруг дернулся, словно его током ударило:

— Ну точно! — воскликнул он. — Этого-то я не видел. Измена Родине с заранее обдуманскими намерениями...

Все круто, стулья зашуршали, повернулись в его сторону. Командующий даже курить перестал, и прокурор ВВС флота вынужден был продолжать, размахивая блокнотом, заложенным на нужной странице пальцем.

— Я это знаю по многолетнему опыту. Когда уголовники бегут из лагеря, они прихватывают с собой какого-нибудь, поточнее сказать, деревенского "вахлака". Прирезать по дороге. И подкормиться. Это называется побег с "барашком".

Теперь на прокурора искоса глядели даже радисты, которые никогда не отвлекались от своих аппаратов.

— ...А этот зека, штрафник, взял еврея. Немец на еврее душу отведет, а остальных не тронет. Логика проверенная. Чтоб поточнее сказать, заранее обдуманная измена.

Командующий ВВС Андреев стукнул кулаком по столу и вскричал, хотя не кричал никогда:

— Товарищ полковник юридической службы! Вы... вы — пишите свое!

Прокурор присел оторопело и не только говорить, но вскоре и писать перестал.

У старика-начальника штаба начали трястись руки, которые он держал на трости:

— Они сожгли у Варангер-фиорда гидросамолет с генералами, — вырвалось у него с нескрываемой ненавистью в голосе. Он смотрел мимо прокурора, на стенку с картинкой художника-мариниста, пытаюсь унять дрожь. С трудом поднялся, протянул в сторону прокуро-

ра руку в синем обшлаге кителя. Синий обшлаг трясся. — Сожгли гидросамолет с генералами Вермахта. Из Нарвика шел. Только за это экипаж расстреляют. Весь!

И тут отскочил от бронированной двери молчаливый доселе особист.

— Коли экипаж порешат, чего ж они тянутся в плен, как бычок на веревочке. Помирать так с музыкой!

Начальник Политуправления снова приблизился к микрофону, крича:

— Гвардии старшина Павел Гром! Вы сожгли самолет с генералами Вермахта. В Луостари вас ждет расстрел... Расстреляют весь экипаж. Родина с вами, дорогие друзья! Североморцы в плен не сдаются! Огонь из всех видов оружия! Огонь!

В ответ — глухое и, казалось иным, ироническое бормотанье шаталовского радиста.

— Прием... Прием... Прием...

И тут в кабинет командующего ВВС Северного флота, нет, не вошел, ворвался генерал-полковник береговой службы Иван Рябов. Папаха из темного каракуля сдвинута на расширившиеся злые глаза. Ему, видно, доложили по радиотелефону о судьбе самолета-разведчика. О том, что лучший летчик — асс, гордость ВВС флота сдается в плен...

Кожаный реглан на сером волчьем меху от быстрого хода распахнулся, и генерал и в самом деле походил сейчас на матерого волчище, вставшего на задние лапы.

Старик Карпович прижал руку с тростью к сердцу и молча опрокинулся на бок. Через два дня хоронили. С оркестром. И ружейным салютом.

...Когда дядя Паша, в его сырой промерзшей кабине, решил, что надо ответить на штабные запросы и сказал в ларингофон, что переводит связь на командира, Иван Як пробасил раздраженно:

— Да отключись ты от этой шатии!.. Оставь прием... Что сверху?

— Me-109-г, — тут же отрапортовал дядя Паша. — Одно крыло белое, второе — красное.

— Ганс Мюллер!

Ганс Мюллер, самый известный асс Люфтваффе, сбил над Северной Африкой и здесь семдесят два самолета. Он убил нашего командира майора С.В. Лапшенкова, на глазах у всех зажег его, когда тот учил молодых пилотов, летал с ними над Большим аэродромом, по кругу...

— Ты его, если придется, из пушки снимешь? — спросил Иван Як.

— Так точно!

— Что над ним?

— Над Мюллером... высота тысяча метров, барраж сорок два "Мессера". Высота тысяча пятьсот — барраж шестнадцать "Фокке-Вульф"...

— Гулянье у Маланьи, — с досадой процедил Иван Як.

А где-то уж шла "собачья свалка". Дядя Паша переключился было на волну истребителей. Матерятся ребята. Кричат: "Атакую, прикрой!" "Держись, кореш!" "Мишка, не зевай! Руби его!"

— Нет, не пробьются к нам, — дядя Паша вздохнул тяжело. — наших — восемь-девять; "Мессеров", как комарья у болота.

После долгого молчания, дядя Паша углядел в небесах еще что-то.

— Над свалкой истребителей "Спитфайер" кружится. Высота три тысячи...

Английский "Спитфайер" был нашим лучшим самолетом-разведчиком. У него не было оружия, только аэрофотоаппараты, но скорость такая, что угнаться за ним не мог никто. Да и бессмысленно гнаться, когда у "Мессершмидта" горючего на сорок минут, а у "Спитфайера" на пять часов.

— "Спитфайер" ходит? — удивленно произнес Иван Як. — Тогда все, Паша, закрывай контору! В штабе все узнают и без нас, по английским картинкам...

...И снова саднящая душу тишина. Нас тащили на Луостари уже восемнадцать минут. На двадцатой все будет кончено...

Наконец, прохрипело в наушниках:

— РОбяты, а ведь нас к Герингу ведут! На личный прием.

— К какому Герингу?! — неожиданно для самого себя вскричал я. — У меня даже пистолета нет. — И, правда, у механика личное оружие — не пистолет, а винтовка.

— ПистОлета нету, — послышалось в ответ, и тут вдруг экипаж разразился громовым хохотом, от которого у меня похолодела спина.

А под нами уж белая кромка приборя. В самом деле, ведут к Герингу...

— Земеля, если накроемся, так все вместе, — прозвучало в наушниках, и я как-то сразу успокоился.

Хотя для спокойствия, надо сказать, оснований не было никаких. Впереди показался вытянутый кишкой немецкий аэродром Луостари, а Иван Як стал снижаться и... черт побери! Мотор выпуска шасси начал свое бормотание. Вижу, "ноги" не выходят, одна только выпала из под брюха, да и то на замки не встала.

А черное посадочное "Т" рядом, рукой подать. Сейчас грохнемся...

Нет, вторично такого ужаса я пережить бы не хотел.

Наш бомбовоз с выпущенной стойкой, вторую, видать, заело, промчал над посадочным "Т", черневшим на снегу, над дежурным в плаще с накидкой и флажком в руках, над толпой военных в высоких фуражках, которые отблескивали на солнце своими вензелями столь ярко, словно у военных горели головы.

Так они и горели, недвижимо, пока Иван Як грохотал над ними, видели, промазал русский посадочный знак. Не привык садиться в Луостари. А может, заметили, одна "нога" болтается туда-сюда, от тряски и ветра. Что ж, пойдет на второй круг.

Тут-то Иван Як и поступил "по погодным условиям", как обещал командующему ВВС. Взревели моторы на форсаже, вибрация стала такой, что, казалось, машина разваливается — нет, успел Иван Як, пока спохватились немцы, дотянуть до грозового облака, лишь одна трасса

полоснула следом... И тут нырнули в чернильную темень, лежавшую на сопке, а, известно, в синих грозových облаках никто на всем севере, кроме Иван Яка, не чувствовал себя уютно.

Из прижатой к сопкам облачности двухмоторный "страстотерпец" Иван Яка выскочил уже над Кольским заливом. Прошел над своим аэродромом на бредущем. Я увидел, шасси у нас болтались, как вывихнутые ноги. Закричал диким голосом:

— Шасси! Масляные амортизаторы перебиты!..

Иван Як попытался сесть со второго захода. Развернулись над сопками, снова зашли на посадку, как на бредущем. У Иван Яка такой почерк: пощупает задним колесиком, дутиком, землю, а потом сядет.

Однако, "ноги" все еще беспомощно болтались, и мы ушли на третий круг.

Дядя Паша, восседавший надо мной, принял по радио приказ генерала Кидалинского садиться на живот.

Меня снова как током ударило. "На живот! Нижнего стрелка затрет..."

Не помню, кто это воскликнул? Когда? На каком аэродроме? Но только помню — от нижнего стрелка в тот раз ничего не осталось. Не знаю, что в плащ-палатке унесли.

Я, неожиданно для самого себя, испуганно вымастерился.

И в наушниках тут же отозвалось:

— Стрелкам, не отстегиваться! — И с напряженной хрипотцой: — Если накроемся, так все вместе.

Только на шестом заходе я услышал характерный щелк, — одна стойка шасси, наконец, встала на место.

Дядя Паша включил голос Кидалинского.

— На живо-от! — кричал Кидалинский. — Что ты, Шатун, белены объелся? Черт с ней, с машиной!..

Иван Як будто не слышал. Он накренил свой усталый ревуший "Ильюшин" и стал сажать его, как велосипед. На одно колесо. Дутиком, как всегда, землю по-

пробовал и — бряк! Звяк! — помчали по утрамбованному слепящему снегу.

Винты все еще тянули накрененную машину вперед, не давая разворачиваться. Она неостановимо катила, скакала по неровному, в ледяных наростах, полю, громыхая на ободке правого колеса, где вместо шины, чувствовал боками, торчали во все стороны ошметки рваной резины. Мчусь спиной вперед — офицер у посадочного "Т", вижу, уже столь далеко, словно я взглянул на него в перевернутый бинокль.

Санитарную машину, идущую вдоль летного поля на полном ходу, проскочили, словно она стояла.

В опущенные посадочные щитки бьет от винтов снежный вихрь — не спасут щитки... Вот уже "тройку желтую" проскочили — командирский самолет — от него до скалы метров двести...

Крутая, в серых валунах, скала, знаменитый "остров смерти", чувствовал — вот она, а мы громыхаем железом, мчим... Торопившиеся к самолету механики попадали в снег, чтоб не убило взрывом.

А мы — катим...

Еще секунда-полторы, и — "Прощай, мама! — Взглянул последний раз на обезумевший, крутящийся снег. — Про..."

Тут Иван Як завалил машину в сторону отбитого колеса, меня дернуло вверх и вбок, брезентовые ремни впились в ребра до боли, еще чуть, и хрустнул бы. Машина царапнула консолью снег и круто вертанулась. Дядю Пашу и меня, сидевших в хвосте, теперь занесло, как на гигантских качелях, почти в поднебесье. Если бы мы не были пристегнуты ремнями, вылетели бы пушечными ядрами!

К машине бежали со всех сторон. Над головой продолжалась "собачья свалка" истребителей. На нее уж никто не обращал внимания.

Подъехали "Виллисы" с начальством, но мне они были ни к чему. В одном валенке, второй прижимаю к груди, выполз через нижний лючок, брякнулся на снег

спиной. Поднялся, одна нога в валенке, вторая в рваной размотавшейся портянке.

Постоял недвижимо, пока Иван Як отдавал по всей воинской форме рапорт адмиралу флота Головко. Адмирал улыбался, долго тряс руку Иван Яка, затем спросил, как ему удалось отбиться от "Мессершмидтов". Немцы подняли в воздух весь Луостари. "По разведанным, на перехват вам вышли девяносто восемь "Мессершмидтов" и шестнадцать "Фокке-Вульфов"."

Иван Як оглянулся, увидел меня в одном валенке, второй — в руке, и пробасил со своим неизменным добродушием.

— А вон, стрелок валенком отбивался...

Тут все засмеялись, даже адмирал улыбнулся. Потом затихли: кашлянув, адмирал заговорил вдруг, как на митинге, что в руках таких героев, как капитан Шаталов, даже устаревшая, в заплатах машина, становится чудом техники, спасает тысячи моряков и солдат...

— ...Огромное вам спасибо от советского народа!..

Ох, не до митингов было Иван Яку! Он пошатывался, видать, еще мчала на него белая от пурги скала с раскиданными гранитными валунами; все ближе и ближе смерть, а тормоза полетели. Какие уж тут тормоза!..

Иван Як снова пошатнулся, потоптался в своих порванных осколками унтах и проокал не то шутиливо, не то всерьез:

— Самолеты... конечно! Могучее Оружие. Но на х... такая бешеная скорость...

Не будь тут адмирала-командующего Северным флотом, все бы поохотали, и дело с концом.

Однако, матюгаться при самом никто еще себе не позволял...

Адмирал тут же сел в свой "Виллис" и отбыл, и очередной орден Красного Знамени вручал Шаталову штабник. Сухо вручал, неодобрительно... Когда садились штабные в свой "газик", слышал я, один полковник сказал другому:

— Конечно, я бы так не ответил. Но с другой стороны, сегодня он в смерть окунулся, как в бочку с дерь-

мом, с головой, и завтра туда же. И послезавтра. Учить его в промежутках делать книксен?..

Иван Як молча проводил штабные "Виллисы" и "газики", приторачивая к поясу свой истертый, подшитый возле уха суровой ниткой шлем с очками-бабочкой...

Капитана Шаталова в звании больше не повышали. А ордена — шли... За каждый "заломленный" транспорт... Только относился он к орденам не как все. Надевал только, когда приказывали. Называл их "треньбренью" или "брякалками".

"Трень-брени" у него было от плеча до плеча. В три ряда. И то сказать, самолет старый, битый-перебитый, колесный, а внизу проклятое море Баренца, окунись в него — шесть минут, и паралич сердца. Испытано, увы, многими...

Командиры эскадрилий, известно, водили свои группы не каждый день. Командиры полков — еще реже.

Генерал Кидалинский — никогда...

Я технарюга, мое дело земное... Через год, правда, вызвался пойти в торпедную атаку, когда стал военным журналистом.

Но чтоб туда каждый день?!

Иван Як и Скнарев выходили в Баренцево ежедневно, то с бомбой, то с торпедой. Какая ни будь погода, хоть сплошной туман, все равно, все знали, чьи моторы взрели на летном поле; на ком война верхом едет...

В конце концов даже адмирал Головка признал Иван Яка! Простил ему неучтивость... Услышал как-то рев самолетных моторов в густом тумане, позвонил Кидалинскому: "Это твой Шаталов, небось, мотается? Смотри, не угрожь гвардии капитана Шаталова... Да, пришли из Москвы бумаги. Присвоить полку звание гвардейского... Вернется Шаталов — поздравь его лично от моего имени."

Едва Шаталов зарулил на стоянку, Кидалинский обнял его и воскликнул с несвойственным ему восторгом:

— Шаталов-Моталов, что бы я без тебя делал!

И на радостях разрешил даже отпраздновать юбилей полка. Год воюет полк. Стал гвардейским. Заслужил!

Юбилей отмечали все в той же столовой, в которой было сыровато, иногда, особенно во время бомбежек, за шиворот сыпался гравий, куски мха. А так ничего... Длинные, грубо сколоченные столы накрыли белыми простынями, не виданными нами с начала войны. Тарелки белые, фарфоровые. Мать честная! Дивизионная типография отпечатала карточки с фамилиями, заранее поставленные на столы. Чтоб каждый знал свое место. Торжественно получилось. "Как в Пиквикском клубе", — едва не вырвалось у меня, но слова застряли в глотке и заняло под ложечкой...

После всех празднеств объявили вдруг, что к летчикам Северного флота прибыл Большой Академический театр СССР. Балетная группа. И с театром — мастер художественного слова Владимир Яхонтов.

Говорят, Кидалинский в лепешку разбился, выпросил к юбилею. Но по дороге, у прифронтовой станции Лоухи, поезд бомбили, пришлось Большому Академическому театру полежать в снегу и грязи. Но, вроде, все целые.

Когда я примчался в столовую, там уже все было расставлено, как надо. Столы распахали по стенкам. Скамьи — посредине. На них, в первых трех рядах, сидели дежурные экипажи в синих парадных кителях и зимних комбинезонах, скинутых до пояса. Как всегда перед боевым вылетом, летчики надевали все ордена. Первые три ряда горели золотом...

За первыми рядами сидели мы, в ватниках или в замасленных куртках, — только от самолета. Кому разрешили...

Первым поднялся на самодельную, колыхавшуюся сцену изможденно-худой Владимир Яхонтов. Улыбка болезненно-застенчивая. Лицо, пальцы цвета свежей бересты. Неправдоподобно белые. Он подошел к самому краю "гуляющих" подмостков, машинально коснулся

шелковой белой бабочки у горла, на месте ли. В этой подземной суете и не то забудешь.

И — протянул руки к первым рядам, задержался на капитане Шаталове, самом монументально-плечистом в первом ряду и словно в золотой кольчуге.

И начал читать, казалось, обращаясь только к нему, летчику в золотой кольчуге:

”Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся,
Хорошо с любимой в поле потеряться...”

Я невольно отметил, как упало это слово в зал — ”с любимой”. Как притих и вытянул шею Иван Як. Как сжался Скнарев...

Я знал, что такое эмоциональное ударение.

Но ударило, пожалуй, совсем другое, неожиданное. После пропитых, сишных, яростных командных голосов, после многоэтажной матерщины, после воя пурги и надсадного рева моторов, вдруг зазвучал, будто с небес, негромкий и прозрачный, хрустальный голос. Точно горный ручей звенел с высоты.

Каким восторгом и какой болью отозвалось в сердце это волшебство из другого мира, в который нам, скорее всего, не вернуться. Слез своих не стыдился никто...

” — Ветерок *веселый* робок и застенчив,
По равнине голой катится *бубенчик*...”

Тут взвыла припадочным ревом боевая сирена. Нас из подземелья как ветром выдуло...

... В полдень, за обедом, объявили, что концерт московских артистов продолжается. Народу набилось!.. Стояли в проходах. Только в первых трех рядах — никого. Пустые скамьи.

Владимир Яхонтов приблизился к краю подмостков и, обращаясь к залу, спросил, а где же те, кто сидел здесь. Самые юные, самые красивые...

Ответом ему было молчание.

Владимир Яхонтов болезненно сморщился, прижав ладонь к своей шелковой бабочке, словно это была удавка. Начал было декламировать:

— "Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня *панихидная* по моей головушке..."

И вдруг закрыл лицо длинными пальцами и, пригнувшись, ушел со сцены. Плечи его тряслись. В конце войны он покончит с собой, любимый Владимир Яхонтов. Может быть, и оттого, что он, тонкий нервный художник, не вынес ужаса подобных сцен. Сколько раз они повторялись на его глазах!

Шатун, или "батя", как теперь его все звали, появился на седьмые сутки. Комбинезон — лохмотья. Вата торчит. Ногу приволакивает. "ПОмОрОжена", — сказал.

Иван Яка подобрал и доставил на своем чихающем мотоботе старик норвежец. Шторм разгулялся свирепый. Мотобот, сам его видел, спичечный коробок. Как не перевернулись? Как Варангер фиорд проскочили?

Возле полуострова Рыбачий их засек наш "дивизион плохой погоды". Так окрестили матросы катера погранохраны с названиями "Смерч", "Тайфун" и "Ураган"...

"Смерч" запросил позывные. А какие у старика норвежца позывные? "Тайфун" выстрелил из носовой пушки и пошел на таран.

Кто знает, чем кончилось бы дело, если б не смекаливый Иван Шаталов. Иван Як быстренько вылез из своего комбинезона, содрал с себя армейские кальсоны со штрипками и поднял на мачте вместо белого флага. Так и пришел в губу Ваенгу, к своим, с развевающимся белым флагом со штрипками...

ВЕСЕЛИЕ НА РУСИ ЕСТЬ ПИТИ

Жестоко простыв на продуваемой всеми ветрами взлетной полосе, пригубил водки, не больше полстакана, непьющий майор Фисюк, наш начальник штаба, заслуженный летчик-язвенник, как называли его веселые юнцы-истребители. Выпил, а вечером, в кругу друзей, добавил. Простонал от боли всю ночь, а утром, ошалев от водки и резей, забыл сказать экипажу дежурного торпедоносца, что в таком-то районе находится советская подводная лодка Щ-422, "Щука" в аэродромном просторечии. Просто из головы вылетело!

Летчик, увидев в открытом море большую крейсерскую подлодку, которая почему-то и не вздумала погружаться, сделал вираж, зашел с выгодной для атаки стороны и врезал ей в борт торпеду. И снимки привез удачные на редкость. Как лодка умирает, судорожно вздымая в последний раз свой острый железный нос, а затем, в новых взрывах и вспышках огня, медленно и едва ль не под прямым углом к воде, почти стоя, уходит навек. Остаются лишь жирные нефтяные пятна, которые так же удалось запечатлеть на снимке...

Так погибла одна из самых известных в Заполярье геройская лодка капитана II-го ранга А. М. Каутского, а майор Фисюк был отдан под суд военного трибунала, разжалован в рядовые и отконвоирован в штрафбат, на полуостров Рыбачий, откуда не возвращались. Правда, на этот раз была отправлена шифровка, чтоб рядового Фисюка вернули через три месяца живым.

Обычно такие шифровки посылались, когда в штрафбат "гремели" прославленные летчики-ассы, Герои Советского Союза. Пожалели и Фисюка.

Во всем винили полярную зиму. Ледяную свистящую темень, которая лежит на голове полгода, как гирия. Давит на душу. Проклинали каторжную Ваенгу и каторжную жизнь, от которой можно осатанеть. Завыть от тоски и "безнадеги". Даже Фисюк напился. Конец света.

И когда, наконец, день проклюнется? Хоть на минуточку-другую? Когда весна?

Нигде не бредят весной так иступленно, как на крайнем севере. Летчики и "технари" ждут "хоть просветления", "хоть чуть-чуть тепла", начальство — конца всеобщей пьянки, которую полярной зимой не одолеть.

До середины мая зима еще девственно-бела и, кажется, легла на землю навсегда. Только в конце месяца снег оседает. Словно опаленные порохом, чернеют природолюбные сугробы. Зима пятится в овраги. Черные проталины, разрастаясь, темнеют на сопках; проглядывает блекло-зелеными клочьями мох. Вдруг оживают и тянутся к холодному солнцу невымерзшая черника, зеленая незрелая морошка. Жадно впитывая в себя неверное, переменчивое тепло, разом поднимаются ягоды, наливаются соком. Медлить некогда...

Люди от природы доверчивы, как цветы или зеленая завязь деревьев, ждущих тепла.

Наше поколение, как известно, было доверчиво, как полярная морошка или голубика. Чуть-чуть спал мороз, переставал сбивать с ног ледяной ураган, тут же воздевали руки от радости: "Оттепель!"

Птицы мудрее. Многоязычный пернатый мир, пролетая на свои весенние базары к Белому морю, Заполярье обходят стороной. Не верят птицы "адской кухне" Баренцева моря, где сталкиваются лбами теплый Гольфстрим и тяжелый паковый лед Северного Ледовитого океана. Разве не сон, что где-то неподалеку, в норвежском порту Тронхейм, цветут розы.

У нас только мох, валуны с прилепившимися грибами-олюхоушками, да жадные горластые чайки, выхватывающие из Кольского залива оглушенную взры-

вами рыбу. Неизвестно каким ветром занесло к нам одичалого бедолагу-воробья, который независимо вышагивал по летному полю.

Когда кажется, что весна, наконец, одолела, вдруг снова налетает заряд, запорошит снежной крупой землю, затянет лужи тонкой коричневой пленкой. А через час снова проглянет солнце.

И так много-много раз. Днем отдышишься кое-как, а ночью...

Ночью пили. Таясь от начальства. Как всегда. Впрочем, пили больше чем всегда. От радости, что дожили до второй военной весны. И налетов стало меньше — как не выпить!

Иван Як пропал — пили вмертвую. Всем аэродромом. С горя.

А вернулся — что тут было! Старика норвежца поили без продыха, я боялся, сгорит старик. Ничего, норвежцы-рыбаки — крепкий народ. Отплыл обратно, гудком тоненько пискнул на прощанье. Мол, счастливо оставаться!

Иван Яка генерал Кидалинский немедленно отправил домой, в неведомый мне город Каргополь, поскольку двумя днями раньше штабные поторопились отправить его матери "похоронку".

...Приехал Иван Як, будто и не уезжал, протянул мне, незаметно от других, стеклянную фляжку — глотни! Я огляделся воровато, глотнул. Спасибо, Иван Як!

Выпили мы с ним на солнышке, он папиросы достал, двинулись к курилке; я повинился перед Иван Яком, не сберег его "Обнаженной махи". Когда Иван Як не вернулся с боевого задания — тут же исчезла. Такая досада!

Он рукой повел в сторону, мол, безделица это. Сказал тяжело, с неожиданной для меня болью:

— Тут вот двенадцать "мах" заявилось. И что получилось?

Я притих, знал, о чем он...

Месяца три назад прибыли в Ваенгу двенадцать девчонок в военной форме. Телефонистки, метеослужба.

Девчонки вологодские, онежские, смешливые, все, как Иван Як, белоголовые. Вроде бы сестренки его. Нрава самого сурового, деревенского. Кто-то из летчиков обошелся с одной из них непочтительно, в зубы дала. Другому ухажеру нос расквасили.

Иван Як ходил именинником. "Это вам не столичные дульциней, с шестимесячной, это наши, онежские"...

И тут девчонки, одна за другой, повлюблялись. В истребителей конечно. Летчики-истребители были в нашем кромешном углу действительно самыми юными и красивыми. У каждого из них по два-три ордена Боевого Красного Знамени на чистом отглаженном синем кителе. Брюки клеш режут воздух со свистом.

Влюбились девчушки, а через месяц-полтора остались их любимые в Баренцевом море. Истребители прикрытия сторали быстро. Проревели девчушки вместе с друзьями погибших, выпили за упокой, ну, и остались у заплаканных друзей до утра. Недели через две не возвратились и новые дружки. Снова ревели на груди оставшихся ребят и пили на поминках.

— ...Слушай, земля, — горестно воскликнул Иван Як. — Три месяца прошло, всего каких-то три месячишки, и что? Двенадцать деревенских "мах"... Я знаю наших недотрог, с Вологды, с Онеги, умеют себя блюсти... двенадцать скромнейших "мах" превратились в двенадцать портовых блядей... да каких! Ночью на посту, на дежурстве юбки задирают. — Грубое лицо Иван Яка было таким, словно он сейчас расплачется. Нос морщил долго.

Я понимал, почему Иван Яку стало невозможно. Ко мне вчера дядя Паша навещался, стрелок-радист. Иван Як частенько спрашивал его: "Ну, как там твоя дряля ненаглядная? Что пишет?"

Когда дали Иван Яку отпуск в город Каргополь, на десять суток вместе с дорогой, дядя Паша приготовил ему свой адрес. Пересадка у Иван Яка в городишке Няньдома, от Вологды недалеко, а дядя Паша как-раз из Няньдомы. Конечно, заехал Иван Як к жене дяди Паши, навез колбасы копченой, муки, крупы — туго набитый

солдатский мешок. Выпили с Пашиной дролей за то, чтоб Паша живой вернулся, а потом она постелила постель, бойко скинула через голову свое бумазейное платье и зовет рукой Иван Яка, мол, ты чего замешкался...

Иван Як выхватил в ярости из брюк широкий флотский ремень с железной пряжкой, швырнул дролю ненаглядную на свое колено, да ремнем по круглой заднице.

— Муж твой любезный помирать со мной летает каждый день, а ты в это время?!

Наяривал ремнем, пока соседи в стенку не застучали: что там у вас.?!

Дядя Паша, от которого Иван Як не скрыл беды, отозвал вчера меня в сторонку, советовался шепотком. Любит он свою дролю без памяти, как лучше отписать ей, без угроз, без матерных слов, а чтоб проняло ее, до души проняло!..

И вот теперь все сошлось у Иван Яка: и наши заматерелые "махи", и дроля дяди Паши. В синих глазах Иван Яка вдруг промелькнуло что-то вроде ужаса, он сказал мне, резко отбросив едва начатую папироску:

— Не женись, земля, никогда! Проживем, мать их так, бобьями...

Следующей ночью мы меняли на шаталовской машине пробитый цилиндр. Завели мотор, вроде, все нормально.

Прикатил инженер гвардейского полка майор Работяга, тощий, черный от морозов. Приставил ладонь к уху (слух у него, как считали механики, музыкальный), и сказал, чтоб мы снимали мотор к чертовой бабушке. Он произнес также много других, уж совсем ненужных слов и в крайнем раздражении отправился отмыкать свой окованный железом сарай, где хранился его "золотой запас". Новые моторы. Прямо с завода. В тавоте и масле. Самолеты Туполева, Ильюшина, Лавочкина — все знают. А моторных гениев? Ну, хотя бы Кли-

мова, Шевцова? Сколько наших ребят они из ада вытягивали, а забыли моторных гениев, и моя душа мотористская плачет.

А на Баренцевом новый мотор подарить — жизнь подарить.

Подарил бы сразу оба, жадюга! Для Иван Яка-то!..

Мы отмыли "новичка" бензином, воткнули его на штыри, соединили бензо-масло-проводку и долго гоняли на всех оборотах — опять не понравился Работяге звук.

Уже полярный день начался, серый, подслеповатый, а мы все возились сперва с новеньким двигателем, затем со вторым "доходягой", который тоже заставил инженер-майора скривить губы.

Сам добавил ему пятьдесят часов жизни, расписался заодно с комиссией, а теперь — не тот звук!

День погас, как не был, а работе и конца не видно. Ну, не нравится Работяге звук. Слушает напряженно одним ухом, а рот кривой.

Ветер с залива рвал парусиновую палатку, наброшенную на мотор. Ватные штаны продувало так, словно они были из газеты. А тут еще тонкие, как гвоздики, шплинты в отверстия не вставляются.

Я пожаловался технику самолета на проклятые шплинты.

— Узких плоскогубцев нет. А пальцы не достают.

— Ты уже и растерялся, — осуждающе пробасил "технар", такой же широкий и красноносый, как Иван Як, техник-лейтенант. — Послюнявь палец и приставь к нему шплинт. Мигом примерзнет. Как зашплинтуешь, оторви палец.

Я плюнул на палец, приложил железку, она приморозилась мигом; в самом деле, дотянулся до отверстия в болте, вогнал в него шплинт, железные усики развел, все честь-честью, некуда теперь болту деться, какая тряска ни будь, и — отдернул руку.

— Черт! Со шплинтом кожа отрывается! Кровь идет!

— Не кожа, а кожица, пленочка, — вразумительно

поправил меня "технар". — Покажи пальцы. У тебя пальцы — на роялях играть!.. Ты меняй пальцы, тогда ничего.

Ночь выдалась ледяная. Завертело страшной вечерашнего. Засвистело.

Я взглянул на часы. До ужина минут сорок. Есть хотелось зверски.

Впервые ощутил, что жду не еды, жду водки. Ста "наркомовских" грамм. А, может, и больше перепадет...

— Слушай, у тебя противогаз есть? — спросил вдруг "технар", оледеневший на морском ветру, как и я. — У меня бидончик налит, технический спиртыга из торпеды. Если через противогаз пропустить... Опасно? Тогда эти, в тридцать шестом полку, гнали через неисправную коробку. А у нас, как в аптеке! Проверим!

— Живем! — вскричал я и помчался одалживать у кого-либо из приятелей противогазную сумку.

Ужинать нас вместе со всеми Работяга не пустил. Звук был все еще не тот... Сказал: остаться! А поесть позже, "по расходу", который на нас заказали.

Вбежал я в наше подземное царство, пахнувшее талым болотом и тухлой капустой. В огромной столовой — никого. Налил мне повар миску дымящихся щей, из большой кастрюли, стоявшей на огне, достал я из валенка свою сломанную ложку. Зачерпнул, с радостью думая о том, что к утру удастся перегнать через противогаз спиртыгу и тогда не придется ждать этих тухловатых жиденьких щей как избавления.

В эту минуту опять стали скрипеть, шмякать об воду доски у входа; вошел в своих лохматых, не раз чиненных унтах Иван Як, наш "Батя".

Кожаный шлем на нем тот же, счастливый, потертый, выгоревший, круглые очки-бабочки поблескивают.

Стянул наш "Батя" посинелой от холода рукой шлем с головы, приторочил к полевой сумке, и — к вару, по-доброму:

— Служба, налей сто грамм!

Повар поправил свой мягкий колпак и вытянулся по стойке "смирно".

— Не могу, товарищ капитан!

Иван Як вздохнул тяжело, переступил с ноги на ногу.

— Ну, дай глоток, что тебе стоит?

— Не могу, товарищ капитан!

Бурлацкие плечи Иван Яка опустились, хотел уж, видно, уйти и вдруг положил локти на стойку и не сказал — выдавил из себя невозможным для него голосом — молящим, униженным.

— Слушай, старшина. Лейтенант Трофимов, истребитель, сегодня не вернулся, ты на него получил... Наш Петюха Ляпунов в воздухе сгорел — ты на него получил. — Погасшим мертвым голосом он перечислил всех, кто сегодня не мог допить свое...

Лицо у повара-старшины красное, тугое, наглое, известный ворюга, наш старшина. После войны их расстреляют поголовно — от замкомандующего по тылу, который продавал продукты, отправленные в адрес ВВС Северного флота, вагонами, до всех этих старшин, загонявших водку в Мурманском порту, по тысяче рублей за бутылку... Мы еще не знали тогда о таком размахе, но в том, что старшина — жулик, — не сомневались.

А Иван Яку, видать, невдомек было, что он унижается перед прохвостом. Тянет свое:

— Ну, дай, старшина! У тебя два литра сегодня накопилось... непредвиденных. Тяпнем за упокой души.

— Не могу, товарищ капитан!

— Ну, человек ты или нет?.. А?

У меня щи застряли в глотке. Я не мог больше слышать этого... Мой самый любимый человек, Батя, "полярный волк", как называла его военная многотиражка, готов встать на колени перед этой шкуркой.

Я выскочил из землянки, а утром, когда все продирали глаза и матерились, объявил, что отныне — и навсегда! — отказываюсь от "наркомовских" ста грамм. Пить не буду. НИКОГДА!

Потопи я бульбжником военный корабль, сбей га-

ечным ключом самолет, никогда бы не стал такой знаменитостью на аэродроме Ваенга. На меня приходили смотреть. И тут же записывались на очередь — не пропадать же добру!

Нары в землянке подпирал огромный, чуть осевший от бомбежек столб, я показывал в его сторону, мол, на нем отмечают.

Вскоре бревно было исписано сверху донизу.

Тут уж деваться некуда: не давши слова, крепись, а давши — держись!..

...В июле 1944 года, когда на севере бои, казалось, затихали, мне вручили приказ срочно явиться в губу Грязную. Здесь, в досчатом лагерном бараке, начала выходить ежедневная газета "Североморский летчик". Первые номера газеты уже разошлись и вызвали такой хохот в летных землянках, какого никогда не удостаивался здесь никакой сатирический журнал. Газету "Североморский летчик" открыла, как водится, унылая передовая статья о задачах партийной работы. И в этой директивной передовой было написано, черным по белому: "партийная организация обсуждает застой своего члена".

Весь Кольский полуостров, истосковавшийся по "женскому полу", "прорабатывал" знаменитую передовую. Скандал достиг Москвы. Самого Ивана Грозного-Рябова...

Стали искать грамотных людей, — по всем эскадрильям. Вызвали в политотдел и меня, я — ни в какую: война вот-вот кончится. Из полка отпустят домой, а из газеты? Дали слово: не задержат. Ни на день... О мире я впервые узнал от истребителя Бурматова: Бурматов поймал в полете сообщение норвежцев (нам о мире еще не объявили). Прибежав в землянку, он встал на руки, потом на голову, и так стоял; в политотделе дивизии всполошились. Что, если все этак перевернется?

Иван Як пил и плакал по Скарневу, сгоревшему над последним караваном, а сказочный фейерверк над Кольским заливом потрескивал дня три: стреляли в воздух со всех кораблей: и американцы, и англичане,

и канадцы. Кольский залив, в отраженном свете ракет, стал из черной смерти — розовой, синей, красной...

Вот тут-то на меня и положили глаз.

Я, по правде говоря, никак не мог постичь причин восторга, с которым меня били.

А был ли в этот момент в Политуправлении ВВС лучший объект для отстрела?

Судите сами.

Ежедневная газета — домна не затухающая. Только успевай загружать. Завернул я, новоявленный разъездной корреспондент, на высокую сопку — кладбище Ваенги. А как не завернуть!

У Ивана Яка образование было, как он сам охотно говаривал, церковно-приходское, потому, считалось, ходил он в вечных "замах". А командиром эскадрильи, как известно, был интеллигентный застенчивый человек, майор Семен Васильевич Лапшенков, "старик", как мы его почтительно называли. Когда немецкий асс Мюллер сбил "старика", мы хоронили его на кладбище Ваенги, как водится, с оркестром и ружейным салютом. А спустя год от могилы нашего "старика", к тому же Героя Советского Союза (Лапшенкову дали Героя посмертно), и следа не осталось. Затоптали могилу.

Легко можно представить, что я продиктовал, поскрипывая от ярости зубами, прямо на линотип наборщику: в тот же день комиссар пятой авиадивизии, отвечающий и за кладбище Ваенги, пьяный вдрызг, искал меня по всей губе Грязной с пистолетом в руке. Срочно заперли меня в радиорубке газеты, тем и спасли.

Недели не прошло, поехал я к своим "шталовским". (Все время к ним тянуло, что скрывать...). Сидят летчики в унтах и комбинезонах — в первой готовности, на телефон поглядывают.

Звякнет телефон — вылет в Баренцево море. Многие ли вернутся?

А звонили кто не попада. Из каптерки (не у вас ли фонарь "летучая мышь?"), из хозчасти — завезли ли бачок с водой? От "ветродуев" — прогноз погоды на

ночь, (а ночью кроме Иван Яка никто не летает), наконец, из бани: ваша очередь тогда-то...

И так без перерыва — звяк, да звяк. Утомили, задергали шаталовских ребят, а им идти в огонь...

Командующий ВВС генерал Андреев после моего "репортажа из летной землянки" издал приказ: легчикам, находящимся в десятиминутной готовности, не звонить. Никому. Сообщать только о приказе на вылет...

Я торжествовал победу.

А подо мной, оказывается, горела земля.

Из Москвы в ответ на жалобу кладбищенского комиссара пришла шифровка Ивана Грозного: "На Северном сержанты учат офицеров. Прекратить!.."

А как прекратить? Не закрывать же газету.

Вызвали меня в Политуправление ВВС Северного флота и радостно сообщили, что я удостоен офицерского звания, еще месяц назад, и погоны золотые показали — вот они. И две маленьких звездочки. Распишись, и дадим задним числом приказ...

— Сержантом ты и не был. Пусть утрутся! — удовлетворенно сказал принявший меня полковник.

Я понял, что пропал. Армейские части распускают, а флот-то остается... Кадрового офицера из флотской газеты не отпустят никогда.

Ну нет, я был сержантом. И никем иным. Вместо двух солдатских лет отгрохал семь. Обещали после войны ни дня не держать. Все! Пора домой, в университет. Не взял я золотые погоны. Обрыдла солдатчина.

Оказалось, Политуправление Северного флота дни и ночи думало о том, как проучить флотских офицеров, которые после войны измечтались расстаться со своими погонами и вернуться к женам и детям.

Да если бы они только мечтали! Два Героя Советского Союза из дивизии Кидалинского выпили "для куража" и прошествовали с утра пораньше строевым шагом по губе Грязной, мимо штаба ВВС, в белых трусах и сапогах. Крича не в лад: "Идем на гражданку!"

Позвонили в тревоге генералу Кидалинскому, он, большого опыта человек, естественно, ответил: "Не замечать!"

К полудню герои кого-то поколотили и, тут уж ничего не поделаешь, попали на гауптвахту.

Тогда лишь в пятой многоорденоносной началась паника. То, что Герои Советского Союза в подпитии, дело десятое. Им работать надо: Герою Советского Союза Туркову вылетать на ледовую разведку, другому — передавать боевой опыт молодым пилотам, которые уже собрались в землянке.

Отправили за арестованными Героями инженера полка Работягу: он человек крутой, пьяниц, случалось, бивал, церемониться не будет.

Герои быстренько затолкали Работягу в камеру, в которой сидели сами, заперли снаружи на засов.

И хотя инженера девятого гвардейского минноторпедного полка майора Работягу, ставшего после этого случая "притчей во языцех", выпустили тут же, штабные пришли в волнение. Постигли, надо что-то срочно делать. Перешибать "демобилизационные настроения", принимавшие порой самые дикие формы.

Решение явилось привычное, само собой — *запугать. Раз и навсегда...*

И тут, как нельзя кстати, подвернулся зайчишка, который, подумать только! золотые офицерские погоны отказался даже взять. Домой захотел, видите ли, в Москву.

Стереть в порошок! Выгнать из партии, да передать прокурору. Пример всем и каждому.

И кладбищенский меня заклеил, и "ветродуй" с метеостанции, мол, мешал им "работать с погодой", и штабные разгулялись... Особенно лютовал синюшнохудой начальник тыла ВВС. Мол, знаем мы эту братию...

— Свирский всю войну стремился в тыл...

И тут вдруг прозвучал до боли знакомый, сиплый на низких нотах бас, кто-то просит слова. Шагает к трибуне капитан Шаталов, которого только что назначили

инспектором по технике пилотирования ВВС флота, и потому он оказался здесь, на штабной церемонии.

Прокосолапил к трибуне, подтянут, трезв как стеклышко. Золотая кольчуга на месте. В пять рядов орденна. И Ленина, и Суворова, и Красного знамени... С обеих сторон груди.

Начал негромко, офицеры чуть вперед подались, чтоб лучше слышать.

— Уважаемый генерал-лейтенант береговой службы... простите, я в штабе ВВС человек новый, не знаю вашей фамилии...

Подсказали со всех сторон, но Шаталов, вроде, не расслышал.

— ...Уважаемый генерал-лейтенант береговой службы утверждает, что Свирский всю войну норовил к ним в тыл...

Собрание затряслось от хохота. Даже командующий ВВС не удержался от улыбки: "К ним в тыл..."

Сбил Иван Як, как ударом кулака, всю программу устрашения...

Не окажись здесь его, не видать мне Московского университета, как своих ушей.

Да, что там Московского университета! В любой захолустный вуз не взяли бы. Даже если б прокурору не передали, стал бы жалким "исключенцем", несмотря на всю свою "трень-брень". Спас Иван Як, в который раз...

А теперь даже мой самый главный ненавистник, кладбищенский комиссар, проголосовал за строгий выговор, правда, прокричал в сердцах:

— С последним... с самым последним предупреждением.

...Разъехались мы кто куда и, казалось, никогда не встретимся. Я кончил Московский университет, опубликовал свои первые книги, превращенные цензурой (и самоцензурой!) в крошево. С третьей книгой повезло. Это был роман о том, почему молчит рабочий человек в рабочем государстве и сидит в разных комитетах и советах "заместо мебели".

Мой еретический роман был опубликован только

потому, что в почти непролазном тухлом болоте советских издательств случайно выжил мудрый и честный человек, о котором грешно умолчать. Это был полковник Алексей Иванович Крутиков, недавний начальник издательства Министерства Обороны СССР. В свое время он получил указание Политуправления Советской армии роман Василия Гроссмана "За правое дело" не издавать ни в коем случае, хотя погромные рецензии на роман в "Правде" и "Известиях", казалось, после смерти Сталина, потеряли силу... Крутиков вызвал удрученного автора и посоветовал ему подать на него, руководителя военного издательства, в суд. Василий Гроссман суд выиграл, роман был напечатан, а полковник Алексей Крутиков, изгнанный из военного ведомства и из армии, стал рядовым редактором в издательстве "Советский писатель". И тут, по счастью, в его руки попал и я...

— На какой улице строят дома ваши герои, лишенные и человеческих и гражданских прав? — спросил он меня, прочитав рукопись. — Пусть они строят на "Ленинском проспекте"...

Многострадальный, обвиненный в ереси роман вышел в свет в 1962 только благодаря тому, что А. И. Крутиков, светлая ему память! дал еретической книге самое ортодоксальное название, которое только было возможным: "Ленинский проспект".

О книге была большая пресса. И "Известия" признала, и "Комсомолка", и "Литературная газета" дала трехколонник...

Подули благоприятные ветры, и я впервые получил трибуну на больших писательских собраниях и съездах. И тут же произнес, к ужасу руководителей, свою речь о советском государственном антисемитизме и столь же любимой мною цензуре, которую назвал "особым совещанием" в литературе...

Но это было тремя годами позже.

А тогда, после самых первых рецензий, пришли ко мне по почте две типовые открытки. На каждой по картинке. Солдат и голубой самолетик. И поздравление с

днем Красной армии. И подпись: Шаталов И. Я. Посмотрел обратный адрес. Город Каргополь. Где такой?

Вторая открытка тоже поздравила с днем Красной армии. И подпись... Бог мой! Конягин! Живой-невреди-мый. Обратный адрес — Козельск. Козельск — недалеко, вроде. Мы брали в январе 1941 г. Волоколамск, а южнее войска штурмовали "укрепленный пункт Козельск". Больше ничего о нем не слышал.

Сочинил обоим дорогим мне людям, моим спасите-лям, большие письма. Ни ответа — ни привета. Иван Як, ясно, писать не любил. Но Коняга, кончивший инженер-ную академию?..

Однако ровно через год, в день Красной армии, опять почта доставила по открытке. Из неведомого мне Каргополя. Нашел город. На реке Онеге.

И из Козельска, этот отыскал сразу — близкая зем-ля, калужская.

Иван Як как-то вдруг нагрянул. Позвонил из гос-тиницы, мест нигде нет, можно ли переночевать? Госпо-ди, как я обрадовался ему. Сколько пили и сколько вспоминали!.. А зачем приехал — молчок. Нахмурился, сморщил нос брезгливо: "Дело копеешное". Обнялись на прощание. Обещал заглянуть перед отъездом. Не при-ехал. Позвонил с вокзала. Я спросил, как дело, ради ко-торого приезжал? Ответил с нескрываемой шаталовской яростью, с которой некогда влепил комиссару пощечи-ну: "Шатия..."

И снова каждый февраль — по открытке. Из Карго-поля и Козельска.

И так десять лет подряд, пока не настало время — уезжать. И чем быстрее, тем лучше. "На тебя дело заве-дено — два шкафа", — сказал мне генерал-лейтенант КГБ Ильин, когда меня выбросили уже отовсюду... Позвони-ла Валентина Гризодубова. Она прорвалась в святое святых, к члену Политбюро, надзирававшему "за идейной чистотой рядов", и своим мужским хрипатым голосом обозвала его обидными словами.

— Я со Свирским воевала, а с тобой, старый хрен, — нет, — заявила она в сердцах члену Политбюро.

Гризодубова была народной героиней и директором авиационного НИИ со сталинских времен и могла прорваться, во всяком случае по телефону, к кому угодно...

Она увезла меня в своей огромной черной машине к Москва-реке, показала свой полукатер-полупароход, подаренный ей какими-то трудящимися ("Такие катера есть только у меня и у Гагарина," — сказала она горделиво), и сообщила, что намеревается по моему делу идти к Брежневу...

Я простер к ней руки и спросил, желает ли она мне добра... — Не надо идти к Брежневу!

Она взглянула на меня своими пронзительно-умными цыганскими глазами и ни одного вопроса больше не задала...

С близкими простился. И все время мучительно думал о дальних. Повидаться бы... ВЕЛИКА РОССИЯ, А У КАЖДОГО СВОЯ...

Как-то узнал от знакомых, что двое архитекторов едут в отпуск на север. Сперва в Каргополь, а потом к Соловецким островам да в Кижы.

А я как раз письма военных лет перебирал. Мать хранила. Наткнулся на пожелтевшую фотокарточку восемь деревенских молодцов, кровь с молоком, на фоне бревенчатой избы... Вспомнил, что фотографию эту я взял вместе с письмом из кармана скрюченного "подснежника", одного из тридцати тысяч "подснежников", которых убили в одни сутки, безо всякого смысла, из-за панического страха перед Сталиным. Об этом и шептались инженер Конягин с пилотами в нашем злополучном "Пиквикском клубе".

Я увез тогда в солдатском мешке письма убитых ребят, написал с волховского фронта в неведомую мне деревню о том, где похоронен сын и брат. Благодарили меня на тетрадном листочке с такой жаркой деревенской учтивостью, что я не смог удержать слез.

На обратной стороне фотографии полувывцветшая надпись: "1940 год, деревня Кушереки"... И чего, казалось, мне эти Кушереки? И чего мне... Снял трубку, зво-

ню архитекторам, не собираются ли они в своих северных блужданиях заглянуть в деревню Кушереки?

— Как же! Непременно! — отвечают. — Там памятник XVI века. Уникальная церковь из дерева. Без единого гвоздя ставлена... Хотите взглянуть на памятник?

— Пожалуй... — Вдруг остро понял, аж сердце захолонуло, давно и нестерпимо хочу побывать там. Тем более, что *эта* Россия, с которой мне уготовлена одна судьба, поздравительных открыток ко дню Красной армии прислать уж не могла никогда.

”ПРОСТИ, ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК...

На севере земля необъятная. На владения не разделенная. Не подмосковье... Бегут-бегут мимо окон поезда хвойные леса, взлетают на пригорки, чернеют у горизонта — нет им ни конца, ни края. Кажется, вот она воля...

Вылезли на станции Няньдома — серый барачный городишко, лица у прохожих серые, озабоченные, точно до воли не доехали.

Так и есть. Отсюда еще лететь надо.

Набились в маленький ”АН-12”. Начали было вырубать, да летчик выключил мотор:

— Вон какая-то бабка бежит с тремя узлами...

Я переглянулся с архитекторами, улыбнулся. Русь! Не казенное Шереметьево.

Поднялись в воздух, бабки в темных платках, завязанных под подбородком, о чем-то своем судачат, самолет на развороте накренился, его швырнуло ветром раз-другой, не затихли бабки, хоть летят почти что ногами вверх, только мешки свои придерживают.

А я от окон не оторвусь: идем на бреющем. Сосны без края, да голубые глазницы озер. Вокруг сверкающих глазниц ели, березки — рукой подать...

Поднялись выше, как остановились. Синее небо. Синяя вода. Другого берега не видеть... Оглянешься назад, ни дорог, ни троп...

Куда нас несет?

И вдруг сразу немислимый для старой Руси город. Спланирован, как самые новые заводские поселки. Нет закоулков. Квадраты улиц. Новейший город, вроде Ангарска, что ли?

— Бабоньки, придерживайте мешки, — сказал летчик. Самолет нырнул вниз, сел на выгоревшем поле. Никаких строений вокруг. Даже будки нет. Мы осмотрелись растерянно, туда ли прилетели?

— Каргополь, — объявил летчик, поглядев на наши лица. — Коли вам сюда...

Каргополь тут же, за некошеной травой, по которой потопали бабки.

Мы постояли, озираясь. Сверху он казался ультрасовременным, а опустились — город из прошлого века. Дома бревенчатые. Ни одной мощеной улицы. Тротуары деревянные. Подошвы наши — стук-стук.

Навстречу мчится свора собак. Мы замедлили шаг, насторожились, какая-то бабка успокаивает.

— В Каргополе собаки не кусают.

Завернули за угол, и снова пылит десятка два собак, не меньше, навстречу. Собаки грязные, уличные.

Мы остановились. На всякий случай.

— Приезжие? — спрашивает бабка. — Московские? Только московские и боятся... Во-он ваша гостиница, голуби.

По пути заглянули в деревенский магазинчик. Там лежали какие-то японские вещи: кофточки, юбки, французская косметика, за которыми в Москве бы в драку. А тут они вроде ни к чему.

Город весь в ватниках, в пыльных кирзовых сапогах. Не до косметики.

В гостиницу ввалились мужики, багроволицые, пьяные, с бутылками в руках. С лесоповала, видать, ребята.

Один из архитекторов протянул разочарованно:

— Удобства, похоже, во дворе?

— Как-так?! — оскорбились местные. — Вон, на втором этаже.

И в самом деле, сверху шел железный короб, прямо в канализационную яму... Кто-то звякал наверху соском умывальника.

Я хотел тут же отправиться на поиски улицы, на которой жил Иван Як, наш легендарный североморский

”Батя”. Но — смеркалось, архитекторы уговорили меня бросить вещи и выйти с ними на берег Онеги.

Онега у города — широка, спокойна. Розовеет на закате. Такое раздолье, что дух захватывает. А вдоль Онеги высятся белокаменные храмы.

— XVI век! — восклицают архитекторы с гордостью, как если б это было дело их рук.

В полном разоре XVI век. Где крест свален, где купол разрушен. Архитекторы разглядывают искусную резьбу по камню, сверяют по книжечкам. Дергают ржавые замки на храмах, пытаются заглянуть внутрь.

Храмы стоят в пыльном городе, по которому носят собаки своры, но как бы вне его, как часть древней, высокой и давно заброшенной культуры...

А городишко и впрямь отдан собакам. Визг, лай. Пройдут два старых человека, и снова мчат, подымая пыль, собаки.

На утро я постучал к Ивану Шаталову. Дом свежей побелки. С резными наличниками. Открыла светлоглазая женщина лет двадцати семи. Пропела-процокала приветливо:

— Здра-авствуйте! А-а, полуцили вашу весточку, как же... Олена я. Иван Яков в Ульяновск уехал, корзины повез. К вечеру будет... Где ваши вещи? В гостинице? Слыхано ли дело, гостя в гостиницу! — Она схватила цветастый платок, набросила на голову, сказала: ”Пойдемте, помогу...”

— Что вы? Что вы? — Я замахал руками и пошел, почти побежал за чемоданом.

Вернулся, дома никого, на столе полбутылки водки, солонина, чайник. Записка, чтоб поел, к обеду вернется...

Я оглядел бревенчатый дом ”Бати”. Необычно остро пахнет свежей сосной. Почти весь дом в самодельных полках. Как для книг. Только вместо книг стоят на них раскрашенные глиняные фигурки. Ребенок на собачке. Пляшущая девочка, сарафан колоколом. Сама экспрессия. А то, вдруг, кентавр — получеловек, ползуверь. Тут только я вспомнил — существует на Руси

такая разновидность прикладного искусства — каргопольские игрушки. Оживший русский фольклор. Смелое смешение синих и красных оттенков, которое, видимо, и создает эффект праздничности. Такой кистью импрессионисты, наверное бы, гордились. Яркая кисть!

От кентавра трудно было оторваться. Это действительно было высокое искусство. Лукавый человеческий взгляд, напряженные, готовые к прыжку лошадиные ноги с синими копытцами. Мастера!

Почему-то пропали эти игрушки, нет их в магазинах. Позже мои спутники-архитекторы сказали мне, что каргопольские игрушки "своим" не продают. Только в разных "Березках" — на валюту.

Когда я разглядывал полки, прибежала Олена. Запыхалась от бега. Улыбка открытая, шаталовская; нос в конопинках, ключицы худющие. На пальцах остатки синей краски.

— Это вы лепите? — Я протянул ей кентавра.

— Полкана-от? Этот Полкан матки нашей, царство ей небесное!

В соседней комнате в жестяном корыте мокнет тонко срезанная сосна. От нее и запах по всей избе. Щекощущей ноздри, сыроватый.

— Тут Иван Як корзины плетет, — сказала Оля, взяв в руки одну из маленьких корзиночек. — Сплетет, обрамляет сверху березовым прутиком. Ручку сделает... Вы не видели, бабы в них белье носят стирать. — И почти горделиво: — Не промокают корзины-от!

— Это что же, у него хобби такое?.. Увлечение? Корзины плести?

Оля поморгала белесыми ресницами, я не переспрашивал.

— Простите, Олена, а вы дочь его?

Олена вдруг начала розоветь. Даже конопушки потемнели.

— Так вы жена?

Олену как жаром обдало. Щеки горят. Я уж не знал, куда провалиться. Вечно лезу, куда не надо.

Олена присела на лавку, сказала тихо, глядя на свои натруженные руки.

— Жалею я Иван Якова. Лучше его есть кто? Ой, да вы сами знаете!.. А с ним-от, слышали, что летошным годом сотворили? — Олена помолчала, затем сказала горестно: — Пришла из Москвы бумага. Воинское звание отобрать, а с ним и пенсию...

Я долго молчал ошарашенный. Чего-чего, а этого не ждал.

Постучалась какая-то тетка, пришла за корзиной. Протянула свернутый гармошкой рубль, взяла самую большую корзину.

— За такую корзину — рубль? — вырвалось у меня.

— У нас народ бедный. Рубль, где тут его заработать?

Иван Як приехал поздно. Увидел меня — глаза потеплели. Лапицу свою подал лодочкой. Встряхнул так, что я присел. Вынул из папиросного коробка пачечку денег, все больше трешками, да рублями, отдал Олене. Прокал: — ДО копейки! Как в прошлый раз слово дал — все!

На круглом лице Олены появилась на мгновение какая-то ошалелая радость. Иван Як потрепал ее по белой голове.

— На трудОвые не пьем, Олешек! Ни-ни!

И улыбнулся, стянув трубочкой губы, наморщив нос. Улыбка застенчивая, с лукавинкой. "Батина" улыбка.

Лицо, правда, чуть усохло, побурело. Лишь глаза прежние — от Онеги, видать, голубизна. На всю жизнь. Веки набрякли, воспалены. С севера привез конъюнктивит, общую нашу болезнь. Так и не одарил его Кидалинский темными очками...

Олена бутылку вынула из "подпола", запотелую. Поставила тарелку соленых груздей. Пирогие теплые. Сказала, улыбнувшись, довольноно:

— С трещецкой пироги... — И ушла в спальню.

Мы сидели, радостно глядя друг на друга, и каждый не знал, видно, с чего начать. Век не видались!

И тогда начал я. Как в осеннюю реку кинулся.

— Уезжаю, Батя, из России...

И объяснил подробно, отчего такое.

Иван Як опрокинул в рот граненый стакан первача, бурые пальцы его, вижу, чуть дрожат; глядит куда-то в окно, мягко улыбаясь, будто не слышит сказанного мною. Никогда я не видел такой светлой, почти нежной улыбки на его жестком тугом лице полярного волка.

— Олешке мОей, соседушке, былО гОдкОв шесть, не бОле, — неторопливо заговорил он. — А я уж бугай-бугаем. Летное училище кончил. Праздники какие-то были. Поставили для детишек горку жестяную. Спуск штопором. Давай, говорю, Олешек, я тебя прокачу. Посадил перед собой. Летим вниз. Отжимает к стеночке, как на крутом вираже. Олешка — легкая. Смотрю, на развороте ведет ее щекой по жести. Сдерет-от кожу. Я руку ей подставил. Под щеку. Ох, во-время! Пальцы у меня до крови. Ну, на мне, как на медведе. Полизал, зажило. Олешкину щеку спас.

Вся мОя жизнь, Григорий, вот так поШла.

Руку подкладывать...

Вернулся в Каргополь, в начальство меня сунули в эту... номенклатуру. То я завбаней, то игрушечный директор. Поскольку вся моя семья по художеству. А вокруг что... Некуда людям деться. Работы никакой. Ни водопровода в городе, ни канализации. Штаны на дворе снимаем.

Раньше мы-от — город городов. С севера соль, рыба, лес, а здесь перевалка.

А как построили железку Москва-Архангельск, наш Каргополь им без надобности. В стороне остался. Одни старики на улицах, да собаки... — Лицо у Бати стало багровым, нос-шишка — горит. — А тут разговор, нас вообще утопят. Звоню властям, что за слух вздорный... И вовсе не слухи, слышу. Планы. Реки поворачивают. Чучмекам, говорят, нужна вода. Я против чучмеков ничего не имею, но пошто Каргополь превращать в дно болотное... Да что Каргополь, вологодчину.

Молодежь ко мне кинулась. Начальник я в их глазах. Смелó толковали, ох, смелó.

Ладно, думаю. Пришло, значит, время Каргополю руку подложить...

Секретать главный прилетал. Меня как шуганут отовсюду. За руку мою-от... Ну, я поддал хорошо. От обиды. Литра два, не соврать. Вернулся в райком, там первый засиделся допоздна, наш щенок, каргопольский. Слово за слово, я его напослед носом-от в чернильницу макнул. — Вскинул Иван Як глаза. В них — давнее озорство полярного асса, который вызвался в сорок третьем офицерский бордель в Нарвике разбомбить, где господа офицеры Новый год встречали. Кружил над морем, дожидался. И разбомбил. Точно в полночь. Секунда в секунду.

— Ну, они, конечно, депешу в Москву. Сладу нет, де... Москва бьет с мыска.

Тогда что?.. Опыт есть: поднял-от кальсоны вместо белого флага. Пью... Мы нынче не моряки, мы рекаки...

Подмигнув, ушел в прихожую. Несет оттуда трехлитровую бутылку с первачом. Половица под ним скрипнула, замер. Поглядел в сторону спаленки...

Я вздохнул тяжело, сказал с укоризной:

— Ты Олене сказал, на трудовые не пьешь.

Лицо у Иван Яка стало жестким.

— Я Олешке отродясь не врал!

— Тогда на какие шиши, Батя? На игрушки Олешкины?

— Ты что, Григорий?.. — И, приблизив ко мне губы, шепнул доверительно: — Трень-брень осталась еще...

Меня — как камнем по голове. "Ордена пропивает"... Почти вскрикнул:

— Так это ж труд твой, Иван Як!

— Труд мой — немца на Онеге нет... А трень-брень... — Поглядел на меня пристально, глаза потемнели, сузились холодно... — Так ведь отберут, Григорий. На Руси от сумы да тюрьмы не отрекайся. Захотят завтрава, лишат по Указу-приказу. Ну, русскому человеку здоровее на эти брякалки... — И он щелкнул себя по багровой шее.

Я спросил первое, что пришло в голову, чтоб уйти

от разговора, которого не ожидал. Понравился ли ему Ульяновск, в который он ездил со своими корзинами?

Иван Як ответил жарко, с нескрываемым удовольствием:

— Ульяновск — прекрасный город. Там пьют не на троих, а на двоих...

В запущенном, с немывтыми стеклами поезде "Вологда-Мурманск" женщина в платке, подвязанном под подбородком, спросила нас, откуда мы и почему у нас эти корзины. Архитекторы, которых я перед отъездом приводил к Иван Яку за плетеными корзинами, ответили радостно: сувениры везем! Каргопольские!

Женщина сказала со вздохом:

— У нас с ними нищие по деревням ходят...

Если б не фотография с выцветшей надписью, которая лежала в моем боковом кармане (я не забывал о ней ни на минуту), я бы, наверное, оставил архитекторов и повернул обратно. Не до камней мне было. Не до памятников.

Архитекторы ехали именно в то самое село со странным названием — Кушереки, откуда и фото и письмо были отправлены четверть века назад, и я понял, что другого случая не будет уж никогда. Фотографию и письмо на пожелтевшей бумаге я отдам кому-либо из родни, может, брату, сестре. Мать, видно, померла... Впрочем, все это можно было отправить по почте. Как спутникам объяснить, если себе не объяснишь толком, почему ты хочешь проститься с родиной "подснежников"... У каждого своя боль...

Архитекторы, медлительный немногословный мужчина лет тридцати двух, в черном похоронном галстуке и стоптанных туристских ботинках, и его экспансивная языкастая жена, с лиловыми губами и в лиловом беретике, сдвинутым на ухо, отвлеклись вдруг от своих карандашных набросков и заметили меня.

— Слушайте, у вас лицо белое, ни кровинки! — воскликнули они в один голос и поинтересовались, не нужно ли что? У них есть нитроглицерин...

Я начал было рассказывать им об Иван Яке, но жен-

щина в лиловом беретике воскликнула в испуге, что не может найти свои зарисовки каменной лепнины. Неужели забыла в гостинице?

Муж положил ей руку на плечо, погладил, успокоил, и они увлеченно проговорили всю дорогу о своих новых зарисовках, и что о них надо написать Грабарю.

Я подумал, они решили оставить меня в покое из деликатности, но тут сел на промежуточной станции мужчина в мятом пиджаке и стал рассказывать, что едет с суда, и своих деревенских не отстоял. Архитекторы тут же пересели в другое купе, и, заметив мой недоуменный взгляд, женщина в лиловом беретике сказала твердо, но с улыбочкой. Мол, хочешь — верь, хочешь — нет...

— Мы профессионалы, рейсшины. Нас люди не интересуют. Нас интересуют камни...

Шутит? Непохоже... Тошнехонько мне стало. Неужели и они из поколения "подводников"? Так я называю профессионалов, которые ныряют, словно подводные пловцы, с кислородными баллонами за спиной, на свои "рабочие глубины" (только там их радости и печали). Какое им дело до того, что наверху кого-то судят. Кого-то зарезали. Кого-то посадили. На Руси сажали всегда. При всех режимах. Другое дело, пароходный винт прошелестит неподалеку от такого "подводника". Нырнет поглубже, чтоб уйти от опасности...

Чувство самосохранения — здоровое чувство, но, Бог мой, какие побегии оно дает в годину отчаяния!

Наконец пересели в поезд, который идет в Кушереки. Тянется однокорейка вдоль Белого моря. Среди мхов, скал, подлесья. Поскрипывает, звякает поезд из двух вагонов. Вагоны сидячие, лавки со спинками, которые сходятся посередине вагона аркой. В длинном проходе висят керосиновые фонари. Над одним из них прибита начищенная до блеска металлическая пластинка: "1884 г."

Станций нет, а поезд останавливается.

— А где станция? — спрашивают архитекторы.

Им показывают, вон, у сосны тропочка...

Я, вроде, и слышу их, и не слышу. В голове все еще гудит хрипловатый бас самого смелого и сердечного человека, которого я только знал в жизни: "На трудовые ни-ни...". "Поднял-от кальсоны вместо белого флага...".

Проводница прокричала "Шандунец", и мои архитекторы рванулись разом, как вспугнутые птицы, выскочили из вагона. Едва успел за ними. И тут же тронулся поезд. Мы постояли, подышали дымком паровоза...

Двинулись к будочке стрелочника. Других строений на станции Шандунец, похоже, не было.

— Где у вас камера хранения? — спросили мы зашпанную стрелочницу.

— Здравствуйте! — сказала она приветливо. — Камера?.. Поставьте чемоданы сюда, под лавку. Пойдете обратно — возьмете. Меня не будет, я сменщице скажу... Дорогу-то знаете? Тут пехом двадцать верст...

Архитекторы пошуршали своими картами. Потаскились. Пыльная насыпная дорога стала подыматься; еще чуть, и уж слева-справа видны лишь верхушки сосен. Сквозь болота и карминные озера проложили дамбу.

Похоже, Петра I затея. Флот строил на озерах, а потом волоком подтаскивал к Белому морю.

Дорога по-прежнему шла поверх сыроватого леса, комарье висело тучей; архитекторы наперебой доказывали мне, что памятники надо смотреть только так. "Пехом..." Пока к памятнику подойдешь, ты уж готов не только натертыми ногами, но и душой... То, что увидишь, ты достиг сам, затратив силы и время. Возле памятника ты духовно отдохнешь. Согласны?

Я торопливо кивал, стараясь приотстать от них...

В Кушереки пришли в полночь. Светло. Тихо. Свернули к хате, в которой из трубы тянулся жидковатый дым.

Выскочила бабка в сарафане, заохала. "Из самой Москвы, ой, ну что вы, как я в свою избу московских гостей пушу, идите к Василисе."

Василиса, крупной кости, широченная, дебелая, в сарафане, расшитом петухами, поклонилась по-деревенски чинно и показала на свою высокую, с резными на-

личниками, хату-пятистенку. Мол, пожалуйста. Сказала, у нее из Ленинграда младший сын приезжает, внука на лето оставляет и цельных пять рублей.

— Еды, гости дорогие, особой нет. Картошка есть. За молоком схожу. Тут осталась редра одна... Ну да, по вашему, корова. Ну, а вода-кормилица, она своя, бес-
платная.

И залила из ведра медный самовар. Трубу самоварную вскинула, как горнист свой горн. Торжественно.

Я стены оглядел. Картинок много. Из журналов. Фотографии молодых парней. В пилотках...

А церковь высилась на горе, возле речки. "На особицу" от всего села. Так поставлена, что отовсюду видно. Гордо стояла. Крыта, видно, как в Кижях, "лемехом" — срезами сосны; "лемех" от времени стал серебристым. Вроде, металлическая чешуя на куполах. Ни ветер, ни дождь не страшны "лемеху".

Только вот, зачем покрасили купола, под Василия Блаженного, что ли?.. Странно. Дерево — материал строгий. Оно цвета не допускает. Само дает цвет. А тут — пряник.

"Привыкнете", — сказали архитекторы.

Действительно привык, тем более, голова была занята совсем другим...

Нет-нет, да поглядываю на церковь. А — заглядишь-ся, не оторвешься. Что правда, то правда.

Два часа ночи. Солнце над головой. Краски рериховские. Вокруг все польхает: цветные купола, речка, прозрачная до дна, окна. Праздник цвета, воздуха, воли вольной...

Архитекторы пытаются заглянуть внутрь церкви, запертой большим, как в Каргополе, ржавым замком. Подсаживают друг друга к окнам. Открывают альбомы, начинают делать эскизы.

С церковного холма Кушереки как на ладони. Хаты одна в одну: высокие северные пятистенки, возле многих лежат, днищем вверх, баркасы, лодки. Вот только тусклые какие-то хаты... Бог мой, окна-то забиты. В бегах Кушереки?

Спустился быстро к Василисе, спросил, много ли их осталось, кушерековских? Хаты, смотрю, заколочены.

— Восемь старух, — ответила она с готовностью... — Это ничего, милый, а рядом, на песках, берегом ехать двадцать верст, только трое осталось. Власть норовит нас вместе сселить, а то хлеб возить в два места. Не поддаемся! Умирать будем в родных песках...

Что ты, мил человек, спрашиваешь? Пятьсот дворов было. Поморы мы. Рыбу ловили. У меня лари, вон, на чердаке, бывало, ломаются от трески. В озерах хариуса брали. Солили. А кто "извозом" занимался... А нынче в забросе все. Поморы — не поморы.

Пришла разнарядка сеять пашено, а у нас и рожь не родится...

Сам видишь, побежал народ. Кто в Мурманск, кто в Ленинград. Детей привозят на лето. Художники бывают, церкву смотрят — пишут... — И она завозилась у самовара.

Самовар, блестящий как зеркало, видно, был тут всему голова. Затопила его еловыми шишками. Он сперва вроде как прокашлялся. Как певец, прочищающий горло. Затем затянул протяжно и все более басовито и мощно. Не самовар — Шаляпин!

— Какой же это чай из чайника, — сказала Василиса, ставя на скатерть пузатый расписной "заварник". — Вы, городские, и кус потеряли...

Тут я решил, наконец, вынул из кармана фотокарточку с выцветшей надписью. Василиса взглянула, прижала ладонь к пухлой щеке.

— Ой, парень, то ж Иванчиковы. Бойкие ребята были. Глазастые все. В мать. Чубастые... Во-он их изба, — она показала на серую перекосившуюся хату с забитыми окнами. — Мать ихняя, светлой памяти Аграфена Иванна, после пятой похоронки слегла. Один сын на лесоповале сгинул, один в тюрьме. Извели под корень... Тут, парень, из каждой хаты ушло где пять сынов, где восемь. Без возврата. На издохе Кушерека. Теперича церкву увезут, и нас нет... Почто увезут? В Архангельске музей объявили. Предупредили, хриstopродавцы,

чтоб мы нашу красу берегли. Для ихнего му́зея. Поста-
вили пожарный сигнал. Чтоб мы сбежались с ведрами,
залили, если что...

...Вы Иванчиковых, получается, знали?.. Встреча-
лись? — Вздохнула тяжело. — Под корень, родимый, под
корень. Выморили...

Тут самовар затрубил торжественно; вернулись ар-
хитекторы, сели пить чай с молочным печеньем, которое
купили в Москве.

Василиса извинилась, что шанежек не испекла. "Не
привозят мучицу". Отломил себе полпеченья. Налила
всем в большие глиняные, с белой глазурью, кружки.

— Пейте-пейте, — приговаривала. — Вода Кормили-
ца, она бесплатная. Она своя.

Пригнулась ко мне женщина-архитектор, спросила,
сколько хозяйке за ночь заплатить? Чтоб не обидеть.
"Если ей сын на лето присылает внука и с ним "цельных
пять рублей"...

Решили дать трешку.

Василиса вскочила и своими дородными руками
так затрясла, что рукава белой домотканной блузки
опустились до плеч.

— Что вы, что вы! У нас с гостей денег не берут. Ка-
кие тут деньги! Я даже шанежки не напекла... Нет-нет!

Уговаривать пришлось долго. Женщина-архитектор
просто взмолилась, мол, как же мы уйдем, как свиньи
неблагодарные.

Василиса даже вздрогнула от такого сравнения.
Взяла три рубля, как змею, подошла к иконостасу, ви-
севшему в красном углу, протянула руку с трешкой к
Спасителю:

— Ты же видишь, Господи! Я с гостей денег не бра-
ла, они сами дали...

...И ПРОЩАЙ!"

С севера вернулся, началась нервотрепка — бумажки собирать для ОВИРа, а им все мало и мало... Боялся, с Конягиным уже не встречусь. А тут ноябрьские праздники — свободная минута. Если сейчас не выберусь...

В Козельск, говорили, надо ехать через Калугу.

Калуга, знал, красива на все вкусы: там и дворцовый Петербург в миниатюре, и "купецкие" особняки, как в старой Москве, и виадук в итальянском стиле, и космический "караван-сарай" авангардной архитектуры под Карбюзье, названный музеем Циолковского.

Я намеревался как-либо завернуть в город, в котором архитекторы воздали "всем сестрам по серьгам", но тут произошло событие, которое бросило на Калугу совсем иной отсвет...

В калужскую психушку упрятали ученого-биолога Жореса Медведева и, если бы не грандиозный скандал, развеянный всеми радиорупорами мира, там бы и убили. Это была первая жертва, с которой решили разделаться таким способом. Александр Твардовский и Владимир Тендряков, ездившие в Калугу спасти Жореса, вернулись ошарашенными, подавленными. Твардовский рассказывал, как он нервничал, даже чуть паниковал, когда его допустили пред темные очи психиатра-тюремщика, а обратно, при закрытых всюду дверях, он выбрался не сразу. Кулаком по дверям барабанил...

Словом, для кого Калуга — мальшй Петербург или что иное, а для меня — навсегда — тюремная психушка, ожидавшая не только Жореса...

Прощаться с Конягиным через Калугу?!

Нет, не захотел я замутнить Калугой своих послед-

них дней в России. Порасспросив всех, кого мог, избрал другой путь. Через станцию Сухиничи, которую помню расстрелянной в упор и немцами, и советскими, изрытую воронками от бомб.

Примчался на вокзал — через Сухиничи любой поезд идет. Подвернулся скорый Москва — Ивано-Франковск. Вижу, стоит гренадерского роста женщина в пушистом оренбургском платке, воздвигнутом при помощи заколок на голове тюрбаном. Лицо белое, властное, чуть брезгливое.

Потоптался, а затем все же подошел.

— Здравствуйте, профессор Архипова, я вам сдавал двадцать лет назад историю средних веков.

Профессор Архипова поглядела на меня пристально, чуть откинув голову с башней. Кивнула. Сказала, что знает мою многолетнюю "эпопею". Познакомила со своим мужем, мрачноватым человеком в ватнике и туристских ботинках, который прижимал подмышкой старенький портфель без ручки. Выяснилось, и он историк. И знаменитый, в разных газетах поротый...

Потолковали о том, о сем, оказалось, они тоже едут в Козельск, вот только в гостиницу, увы, не дозвонились. Родных-знакомых там нет...

— А что вам тогда в Козельске?

Они поглядели на меня, как на несмышленища, и — улыбнулись, похоже, не поверив моему дремучему неведению.

Мы не садились в поезд, ожидая, когда со ступенек вагона сойдут провожающие. Но провожающие почему-то не сходили. Выяснилось, они тоже уезжали. Я обомлел. Всю Россию исколесил, но никогда не видел, чтоб дальний столичный поезд отходил набитым, как подмосковная электричка, битком.

Висеть на подножке холодно, да и опасно, пробились в тамбур. Кто-то начал стучать сапогом в запертую вагонную дверь, наконец открыли, а внутри тоже стоят спрессованно, туго — плечом к плечу.

Духота. Она крепла, казалось, с каждым поворотом колес: обострился терпкий запах потных тел. Женщине

на верхней полке стало плохо, ее сняли вниз, дали ей смоченный в воде носовой платок.

Заохала толстуха у окна, что в такой жарыни курицу ей не довезти...

— В Калугу не поехал, а все равно вагонзак, — вырвалось у меня раздраженно, и Архиповы воскликнули удивленно: "При чем тут Калуга?!"

Они были мокрыми, точно под ливень попали; переминались с ноги на ногу вот уже четвертый час; страдали молча.

— Эх, да в такой теснотище, да мягкую поповну, — весело прозвучало из тамбура, и все захохотали. А кто-то, прижатый дверью, заметил:

— Теснее, да честнее...

Теперь уж выражать неудовольствие было просто неприлично.

...Побегали по городку Сухиничи, долго волочилились с вещами до станции междугородних автобусов. Ноябрь на дворе, автобусы ледяные. Профессор Архипова взяла у мужа портфель, достала оттуда зеленую папку, полистала удовлетворенно.

Дорога в Козельск пустынна, заброшена, валяется на обочинах, похоже, со времен войны какая-то "колючка". Просторы, тишина, только автобус погромыживает. Не верится, что только что был нервный, взвинченный гомон Москвы, стоячий вагон в Ивано-Франковск. Словно ветром унесло сутолоку, мчимся в тихую вечную Русь, где, слышал, течет речка Жиздра.

Простился с историками у Жиздры, они в гостиницу, а я по адресу на измятой бумажке. Свернул на сонную улочку, по которой ехал на велосипеде, пугливо озираясь, подвыпивший солдат.

Рычавшая, скалившая зубы овчарка тащила за собой парня в милицейской фуражке и патрульных солдат, каменный топот которых был слышен задолго до их появления.

Похоже, это не добрый собачий Каргополь...

Обитая клеенкой дверь инженера Конягина не открылась, сколько ни стучал. Правда, не колотил столь

иступленно, как тогда, под Москвой. Однако дверь ту, в землянке, из толстых досок, представил себе вдруг так явственно, что даже сердце зашло. И давний шорох, и звяканье запора...

Повернул обратно, в гостиницу. По дороге прошел небольшим парком. Безлюдье. Каток в сыром снегу, нерасчищен. Выбрел к Жиздре, взгляд скользнул по каким-то монастырским строениям за рекой, белокаменному собору... Начались вдруг фонари, похожие на огромные бутафорские ландыши. А между ними, в высоту "ландышей", красуются какие-то гипсовые птицы дикого вида.

Историки все еще топтались внизу у оконца администратора гостиницы, который устало повторял свое "нет!" и "не будет!".

Кажется, все уже были порядком раздражены: после "стоячего вагона" — "стоячая ночь"...

— И чего вас принесло в праздники, — ворчливо сказала женщина в белом переднике. — К солдатам родители приехали, жены... На частные квартиры? Никого ваш рубль не интересует! Кто это будет себя стеснять. В революционный день... Ладно, поставлю вам раскладушки в коридоре.

— А что это за страусы у вас пасутся в ландышах? — с досадой спросила профессор Архипова.

— Это не страусы, — почти обиженно ответила служба в белом переднике, — это фламинги. Гордость города Козельска!

Архипова нервно поправила на голове свою оренбургскую "башню", воскликнула оторопело:

— У них Оптина Пустынь, а гордость города — фламинги из гипса...

И тут меня будто ожгло. Минуту-другую не мог и слова выговорить. Козельск был в моих глазах безликим захолустьем. "Укрепленным пунктом" из военных сводок. И только.

Оказалось, на другой стороне реки Жиздры — Оптина Пустынь... "Ну и дубина!" — сказал я самому себе с полным основанием.

Оптина Пустынь — духовное прибежище Гоголя, Достоевского, Толстого — существовала для меня... вне конкретной территории. В университетских лекциях Гудзия и Благого. В собственных конспектах. "Горние высоты духа!" — со стратью восклицал Николай Калининнович Гудзий.

"Оптина Пустынь" как бы висела в воздухе и, чудилось, почил в бозе вместе с XIX веком.

Именно такое представление об "Оптиной..." дал мне филологический факультет Московского университета.

Куда только ни ездили студенты фольклорных, лингвистических или спортивных групп. Даже на Эльбрус. Но... "на горние высоты духа"?! И мысли не заронили...

Тут меня окликнула администраторша. Сказала, что приходил какой-то человек в кожанке, однорукый, спрашивал Свирского. Не вы ли?

Я понял, что мы разминулись. Только вот... однорукый?

Кинулся вдоль парадной — Советской — улицы, по осевшему, в трещинах и выбоинах асфальту, и минут через десять подошел к обитой серой клеенкой двери. К ручке пристроена записка.

"Григорий! Ключ под половиком. Буду через двадцать минут".

Я нагнулся, достал ключ, повозился с пахнувшим керосином замком, непростой замок, конягинский, лишь после третьего поворота ключа что-то щелкнуло, освобождая щеколду, и я переступил порог конягинского дома.

Я предвкушал встречу с подмосковьем сорок второго года. Наверное, по стенам фотографии знакомых ребят, неправдоподобно молодых, обмороженных до черноты, с распухшими слоновьими ушами, веселых, смеющихся. Конечно, снимки белых известкой "ПО-2", конягинских "русс-фанер". Непременно на взлете заснятых (газетные репортеры всегда ловили щелкнуть на взлете, когда видны и самолетные лыжи в небе-

сах, и две черные бомбочки по пятьдесят килограммов, зажатые нашими "кухонными ухватами").

А может, в красном углу выщербленный осколками деревянный пропеллер "кукурузника", который вошел, неожиданно для всех стратегов мира, в историю большой войны.

...Если б ударило меня по голове бревном, вряд ли бы так ошарашило, как сейчас.

Дом бывшего инженер-капитана советской армии Конягина был весь, от пола до потолка, увешан... иконами. Справа, в светлом углу, икона нерукотворного Спаса. Самая популярная на Руси икона. Во всех деревнях видел. Голова Спасителя с золотым нимбом. Перед ним горит синим огоньком лампадка. Распятие на темно-вишневом бархате тоже не редкость. А поодаль — торжественное изображение Георгия Победоносца, что ли? На белом коне, со щитом. На щите желтое солнце, круглое, улыбающееся, как в детской сказке. Святой воин в розовых сапожках и в красном плаще, который развевается за ним, как водится, поражает копьём змея. Впрочем, не змея. Какую-то невзрачную бородатую фигуру в черных доспехах.

Над головой воина летящий ангел в белом пытается надеть на него золотую корону. Тихоходный, видать, ангел. Никак не догонит.

А на втором плане серовато-синие городские стены с башенкой, из-за стен выглядывают перепуганные горожане. Один даже мчит по лестнице прочь.

Черт побери, не сей ли рыцарь был главным героем русских черносотенцев, пожелтелые издания которых я листал в Ленинской библиотеке? С современными последователями этого святого у меня знакомство не шапочное. Годами продолжались баталии и на улицах, и в Союзе писателей, и в ЦК партии...

Неужто героем Конягина стал любимый Победоносец "Союза Русского народа"? Я даже присвистнул. "Не разругаться бы на прощанье..." Впрочем, возможно, черная сотня вкладывала в Георгия Победоносца СВОЕ содержание. Подбрасывала под его копые СВОЕГО змея...

Возле следующей иконы я задержался надолго.

Икона эта была небольшой и, похоже, древней. Но не темной, как обычно, а какой-то яростной, набатной.

На ней был изображен по пояс архиерей или святой в архиерейском белом облачении с черными крестами. Лицо выписано тщательно и заставляет взглянуть в него с некоторым изумлением. Это не изможденное лицо аскета, не византийское, как водится, а — простоватое лицо русского мужика с добрыми участливыми глазами. Глаза Иван Яка, когда он улыбается... С него будто и писали. Да и лицо похожее видел. На Енисее. Парфен с красноярской пристани.

Что создает тревогу? Конечно, фон. Фон такой, словно кто-то за мужичьими плечами "красного петуха" пустил. Вот откуда набатный дух. Огненный цвет вокруг мужика, киноварный. Горит икона. В пламени стоит мужичонка в странной для него архиерейской одежде и с золотым нимбом над головой. А вокруг, по краям иконы, в цветных квадратах биография мужицкого архиерея, что ли?

Тут я был готов сказать себе, что инженер Конягин просто-напросто собиратель древних икон. Вроде Солоухинской компании. Встречался я с такими... Рыщут люди по деревням, копаются в руинах монастырей, сводят с икон черную копоть. Приглашают гостей на "смотрины".

Но... синий огонек лампадки горел перед головой Спасителя. Явно не только собиратель...

В эту минуту щелкнул замок, и вошел инженер Конягин в своей потертой кожанке. Протянул мне единственную руку, воскликнул: "Сколько лет, сколько зим!" и еще что-то.

Я пожал его жесткую, как щепка, ладонь, а потом в инстинктивном порыве обнял его. Глаза, чувствую, стали влажными. Не сразу пригляделся. Невысокий, тощий, нервно говорливый. Пустой рукав вложен в карман кожанки... И то сказать, не виделись тридцать лет. С февраля сорок второго, последнего года нашей жизни, как думалось.

Хочу что-нибудь сказать, не могу.

Похоже, жизнь не щадила нашего инженер-капита-

на! Морщин вокруг желтых глаз, как трещин на стекле от камня или пули — густо-густо. Складки в углах рта глубокие, темные. Резко выделяются на худом, костистом лице, болезненно-сером, измятом и, пожалуй, недобром. Вот только бугристый лоб остался прежним. Вызывающим. Конягинским...

Дорог мне человек, до слез дорог, а — о чем спросить? Ведь не знаю о нем ничего. Ну, совершенно ничего. Здоров ли? Женат ли? Есть ли дети? Живы ли родители? Не угодил ли тогда в тюрьму? Ничего не ведаю...

Молчание, чувствую, становится тягостным.

— Что за огненное чудо? — спросил я об иконе, возле которой стоял. — Какого века? Святой, а лицо мужичка...

Конягин засиял, словно я его одарил чем-то. Сверкнул желтыми белками глаз.

— Не узнали? Господин Великий Новгород! Пятнадцатый век! Никола-Угодник! Горит и не сгорает. — И понесся "конягинскими оборотами". — Поелику вся Русь перед Николаем-Угодником веками на коленях простаивала — в беде первый заступник. Русский люд к нему лепился, как мог, почитал: все именем Николы названо: посады Никольские, соборы Никольские, монастыри Никольские, а беды русской не избыть доселе. Потерянная наша воля, господин Великий Новгород, вот что это!..

Отошли к столу, присели на самодельных стульях. Увидев направление моего взгляда, Конягин объяснил спокойно:

— Руку потерял как? Целили в меня, сам знаешь, долго. Через год подловили. Как в авиации инженеров подлавливают? Рухнул пикировщик на взлете. Причин тысяча. Аварийная комиссия руками разводит. Моторесурс давно выработан. Фюзеляж и крылья в заплатках, изношены. Тяги старые. А скорее всего, ошибка пилота. Но если на инженера полка или эскадрильи положен глаз, то ясно, кому отвечать... Ну, военный трибунал. Штрафбат. Руку оторвало, тем и спасся.

— А Георгий Победоносец тут при чем? — спросил я суховаго.

Оказалось, что на белом коне вовсе не Георгий Победоносец, а Дмитрий Салунский, и поражает копьем злого царя Калояна.

— Крестный отец подарил. Я ведь Дмитрием назван... Ох, строг был мой крестный, бдил, чтоб я был крещеным, а не "обливанчиком".

— Каким еще "обливанчиком"?

— Ну, барыни иные боялись — утопит батюшка родимого Николеньку или Сашеньку. Видя, что по три раза окунают, с головой, просили с головкой не окунуть, и батюшке за то — особую мзду; батюшка держал младенца на руке, и водой обливал-обрызгивал; мужики смеялись, разве ж господа крещеные, то ж "обливанчики"... Вы пока отдохните. Вон, на старом диване, тут и спать будете, только папки свои заберу.

Пока инженер хлопотал по хозяйству, я как-то старался привыкнуть к сухому, пряно-маслянистому духу старинного дома с его пылающим набатным иконостасом.

Подошел к самодельным книжным полкам во всю противоположную, без окна, стену. От пола до потолка книжечки.

Взял первую попавшуюся.

Переплет, видать, самодельный. Текст... переписан от руки. Почерк Конягина, угловатый, размашистый: "Н. В. Гоголь. "Размышления о Божественной литургии".

С этим нас в университете точно не знакомили.

Перебрал затем тяжелые тома в толстых кожаных переплетах. Некоторые обложки деревянные. "Переводы Паисия Величковского с древнегреческого". Золотое тиснение букв, скорее, угадывается. Века полтора этим фолиантам, не менее. Название для XX века тяжеловатое: "Добролюбие".

Рядом столь же неведомые мне "Творения святого Ефрема Сирина". Псалтырь. Часослов... Митрофанушка у Фонвизина, помнится, изучал псалтырь. Ученье — свет...

А вот соседнюю книжицу, затертую, с засаленными страницами, я листал со жгучим интересом.

Не книжица даже, брошюра-инструкция, условия для крестьян-переселенцев на сибирские пустоши. Каждой семье вручается 400 царских рублей. 200 — безвозмездно, остальные — с возвратом через десять лет, когда крестьянин станет на ноги. Проезд до Оби или Иртыша — бесплатно. Затем пароходом. Тысяча пятьсот верст — билет 6 рублей.

Цены на живность в Сибири:

”Корова — 12 рублей,

Лошадь — 15 рублей...

Пуд ржаной муки — 45 копеек,

Пуд пшеничной — от 60 копеек до 1 рубля 20 копеек...”

То-то русская пшеничка текла из Сибири рекой. Не долго, увы...

Поставил со вздохом брошюрку, хотел отойти от полок, взгляд остановился на больших томах в коленкоровых переплетах. ”Об Оптинских старцах”. Потрепанные тома. Золотое тиснение тоже лишь угадывается, видеть, побывали во многих руках. Открыл наугад.

Оптинский старец Макарий, о нем слышал от Гудзия, мудрец, переводивший и с древне-греческого и с древне-еврейского. Гоголь, Николай Васильевич, с ним переписывался, а случалось, и надоедал своими вопросами, вроде — ехать ли ему из Москвы к тетке или не ехать...

Полистал. ”Семь писем Макария к мирянину”.

”Вы просите научить Вас дару молитвы. Это похоже на то, как бы у нищего кто просил богатства...”

”Смирение есть сильнейшее оружие против врага и его стрел”. Углубился в письма, снова перелистал. Опять о смирении...

Поставил книгу на место с досадой. Смирение, терпение... До того терпению научили, что даже сам Сатана Виссарионович благодарил русский народ за терпение.

Взял машинальным движением еще одну книгу. Раскрыл. События, вроде, происходят в 1918 году. ”Старец отец Нектарий не утешил, никому не подал ни ма-

лейшей надежды на то, что новая власть скоро кончится...”

Остальные книги я проглядывал уж с большим интересом. Наткнулся на папки с бумагами, написанными явно рукой Конягина. "Уход Толстого". Ф. М. Достоевский, "Братья Карамазовы"... А вот и новенькие 1970 года издания. Где издано — неизвестно. Раскрыл наугад, стр. 30:

"...социализм... по преимуществу есть атеистический вопрос... вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю”.

— А это откуда? — спросил, не удержался. Но Конягин, видно, еще не исчерпал своей любимой темы. От моего вопроса отмахнулся.

— Обратили ли внимание на мою любимую икону? — Он даже поставил на стол бутылку со штопором в пробке. Не довертел... — Покров Божьей Матери. Главная казачья икона... Поелику я коренной казак, из станицы Темрюкской... — оборвал самого себя, заметив мой взгляд в сторону накрытого стола.

— Гость не евши, не пивши, а я ему... — потянул меня к столу, продолжая объяснять:

— Казаки всегда гуляют на Покрова. Это наш главный праздник.

— Теперь я, наконец, понимаю, почему "смерш" так хотел вас прикончить.

— Нет, тогда я еще не веровал, был образцовым советским офицером. Точнее сказать, не совсем образцовым, с идеями: иконку в чехле, дар матери, правда, носил, говоря друзьям — амулет. А вот поняв на своей собственной шкуре, что свои пострашнее чужих, в том самом сорок треклятом году и постиг...

Проговорили до утра. Конечно, "русс-фанер" вспомнили, конягинский проект. "Подснежников", которых мы отдирали от мерзлой земли... Не заметили, как перешли на "ты". Светать начало — заснули. Открыл глаза — чайник свистит. Конягин взглянул на меня как-то требовательно, деловито, не по-вчерашнему.

— Ну, чайку, да пошли...

Я уж не спрашивал, куда. Слава Богу, вовремя опамтовался. Сказал виновато, что в гостинице двоих историков оставил, в коридоре дремлют. Захватим их?

— Можно! — казалось, удовлетворенно произнес Конягин, надевая кожанку. — Из Москвы? Подпольные паломники?

— Историки! Из Московского университета!

Конягин усмехнулся безгубым ртом:

— Историки — не люди, что ли?

”Подпольные паломники” завтракали. В полночь им открыли номер с красной дорожкой, ”броню райкома партии”. Обрадовались нам. С местным человеком всегда больше узнаешь.

Выбрели на сырой ноябрьский снег. Какой-то пожилой человек, который спал в коридоре на раскладушке, догнал нас, спросил дружелюбно:

— Не возражаете, я с вами? — И надевая офицерскую фуражку без звезды, кивнул Конягину. Похоже, не первый раз тут человек.

Двинулись к Оптиной Пустыне. Прямо по снежной целине. От гостиницы в ту сторону ни одной тропочки. Набрели на современный памятник — черную минометную трубу, занесенную снежком.

Историк, в ватнике и потертых джинсах, достал фотоаппарат, а Конягин сказал со своей обычной усмешечкой:

— Памятниками войны интересуетесь? Не помешает вашим планам, если я вам покажу еще что-то.

Двинулись за Конягиным всей группой. Притопали к чугунной плите. Памятник в честь битвы 139... года. Последняя цифра стерта. Историки защелкали фотоаппаратами. XIV век! Надпись можно прочесть, но не без труда. ”Козляне совет сотвориша изыти на полки татарские, изшедши из города и нападши на полки татарские и убиша от татар 4 тысячи и сами бы избиены быши”.

Постояли молча.

— У вас, евреев, есть такое место. Как называется-

ся? — спросил Конягин, обращаясь не то ко мне, не то к историкам.

— Вы кого подозреваете? — с усмешечкой спросила Архипова, поправляя свой оренбургский тюрбан. Насмешливые армянские глаза ее сузились. Круглое белое лицо северянки покраснело. — У евреев это называется Масадой.

— Вот-вот, у евреев есть Масада, а у русских — Козельск. Козельск не сдался татарам, полег до единого... Масаду знает весь мир, а кто знает Козельск? — И он молча двинулся в сторону, я шагнул за ним, глядя на его лысоватый затылок, словно это помогало мне постичь, чем, в конце концов, живет человек. Уж не из русопятов ли? А может, просто жидомор? Останемся один на один — потрясу за грудки.

— Извините, хочу обратить ваше внимание и на мост... Если это входит в ваши планы.

За каждый свой шаг Конягин почему-то извинялся. Казалось, невзрачный однорукий провинциал в истерханной кожанке до колен извинялся перед столичной публикой.

Я беззвучно посмеивался, прислушиваясь к его нескончаемым "извините". Ох, это конягинское уничижение паче гордости...

В сорок втором он был куда открытее, резче, проще. А говорил сложнее. "Много слов в охапку берет", помнится, смеялись технари. Сейчас все наоборот. Говорит проще...

Вступили на мост через Жиздру. Подошли к чугунной ограде с круглыми набалдашниками.

Морозец. Река парит. Внизу, на специальных подмостках, гомонили женщины с корзинами, полными белья. Одна из них полоскала что-то. На ее руках были надеты длинные перчатки крупной самодельной вязки, а сверху резиновые. Полощет и ведет с остальными разговор о том, что надо бы послать кого-нибудь в Москву... "Пообносились все..."

— Здесь женский клуб города Козельска, — сказал Конягин. Мы засмеялись.

Мост был бетонный, широкий и вел в сторону какой-то магистрали. Конягин задумался, что ли, дал нам отмахать метров двадцать лишних, а затем окликнул:

— Вы куда?.. К Оптиной Пустыни, — он усмехнулся горьковато, — берите влево, круче, выходите на тропку, во-он туда, по леску. — Объяснил, когда мы втянулись в сосновый лесок, припорошенный снегом, что мост построен в советское время и, естественно, ведет не туда...

Остановившись, показал на реку.

— Была тут у монахов переправа, да Бог с ней, с переправой, — снова зачастил он "конягинскими периодами", едва дыхания хватало. — На берегу, вон там, метрах в пяти от Жиздры, видите, овражек, за ивовыми кустами, там пробился родник. Серный родник, глубинный; ранее он был в другом месте, между Оптиной и ски-том, покажу потом, назывался "Пафнутьев колодец", со святой водой; завалили колодец, забили цементом... Как, почему? На дворе пятилетку громоздят в четыре года, а тут, страх Божий, паломники идут и идут, как триста лет назад, и исцеляются, главное. Одни верой, другие сернистой водой... Забив родник цементом, дали депешу в область, мол, святой воде конец, а она, глядь, прорвалась в другом месте.

Так и все. Заваливай святой родник — не заваливай... Профессор Архипова исторического оптимизма Конягина, видно, не разделяла. Человек наблюдательный, она тут же заметила, что от Надвратной церкви на крутом берегу Жиздры остались рожки да ножки...

Конягин вздохнул только, повел нас к монастырю.

— Хотите, я вам покажу могилы старцев Макария и Амвросия?

Крупно зашагал мимо развалин к низинке за церковкой. Кое-где раскиданы могильные памятники. Скорее всего — старое заброшенное кладбище. Остановился на открытой полянке, где неподалеку, в двух местах, снежок был тщательно замечен и лежали вместо цветов свежесрубленные еловые ветки.

— Это происходит каждый день, постоянно, и никто

не знает, кто кладет ветки и цветы на могилы старцев... Когда было столетие со дня смерти Амвросия, все певчие Загорской Лавры прибыли в Оптину Пустынь. И пели и день и ночь... И люд стоял не евши, не пивши...

Не только часовенки над могилами старцев снесены начисто, нет и плит, даже могильных холмиков, как видите, нет, сравнивали с землей; несколько раз сравнивали. Да подымается земля на этом месте. — Он постоял, трудно дыша, унимая в себе что-то подступившее к горлу. — Сами видите, пробивается наш родник... Пробивается... — Конягин улыбнулся светло; если бы не почернелые искрошенные зубы, улыбка его казалась бы победно-молодой. И сразу принялся жарко рассказывать о старце Амвросии, к которому, видать, питал особое чувство.

— Двести-триста верст шли к нему страждущие, пешком шли, чтоб повидать старца, почерпнуть его отрезвляющей мудрости... Амвросий, как вы слышали, наверное, потряс Федора Достоевского. Старец Зосима в "Братьях Карамазовых" с него написан. Помните, конечно, Зосиму? — Улыбка с костистого лица Конягина не исчезала. — Константин Леонтьев, не мне вам рассказывать о гениальных философах... так вот этот самый Константин Леонтьев, что менее известно, принял тайный монашеский постриг и жил здесь, в Оптиной, под рукой Амвросия...

Историки увлеклись лежавшей на земле каменной глыбой со старославянскими надписями, разбитым памятником, что ли; Конягин чуть приотстал и сказал вполголоса — мне да "подпольному паломнику" в военной фуражке без звезды:

— Нашу Октябрьскую Леонтьев предсказал, как если бы видел воочию, более точно и детально, чем Достоевский. Обернется она торжеством мещанина, сказал. Увлечет своими идеями-лозунгами Восток и пойдет раскаленной лавой на Запад, обеспокоенная более всего своими удобствами... Каково?! — И громче и вразтяжку, чтоб не прошли мимо этой мысли обернувшиеся в нашу сторону историки: — М н о г о е предвидели в Оп-

тиной. На сто лет вперед зрели... — И, усмехнувшись уголком бескровных губ. — А судьба пророков известна. Во все века...

Перепрыгивая через обломки, Конягин сообщал скороговоркой:

— Храм Святой Марии Египетской — в развалинах. Колокольню начала XIX века — повалили. Часовенки на могилах старцев, к которым вся Россия приходила, сами убедились, сравняли с землей...

Мы шли по Оптиной под этот скорбный и, казалось, нескончаемый рефрен: "...повалена", "крыша провалилась", "купол срезан".

— И вот так всё, друзья мои...

Наконец выбрали из развалин в жидковатый сосновый лес. По пути Конягин взмахнул единственной рукой. — Вон наш сказочный колодец с мертвой и живой водой; живая, как вы знаете, от властей утекла...

Сквозь огромные старые деревья и молодой сосняк проглядывает надвратная церковка, колоколенка в строительных лесах, а за ней скит, в котором работали и Достоевский и Гоголь.

— Реставрируют! — радостно воскликнули историки.

— Можно сказать и так, поелику в лесах стоит двадцатый год...

Пробежали сквозь арку, увидели большую площадь, окруженную двухэтажными жильными домиками, старыми, с подтеками.

Посередине высилась деревянная церковь Иоанна Предтечи с небольшим куполом и крестом. Стереотипный портик с четырьмя обшарпанными белыми колоннами... Никакого сравнения этот поздний "купецкий" классицизм с древними северными церквушками не выдерживал.

— Вот ее бы и надо увезти в Архангельск. С глаз долой... — заметил я.

Конягин взглянул на меня неодобрительно, повел к боковому крыльцу, возле которого висела дощечка: "Филиал Козельского краеведческого музея"...

Полы крашены суриком. Конягин долго вытирал ноги о половик, и мы, естественно, так же. Наконец оказались в комнате, где были собраны все реликвии, которыми гордится Оптина Пустынь. Личные вещи Достоевского. Зонтик, стул, темного дерева секретер, покрытый зеленым сукном. И, помнится, чернильница. Стоя за этим секретером, Федор Михайлович создавал "Братьев Карамазовых"...

На какое-то мгновение у меня появилось почти зрительное ощущение, галлюцинация, что сейчас войдет сюда сгорбленный, с палкой, старец Зосима с послушником, и великий прозорливец скажет мне прочувствованно:

— Все правду ищите? С пятым-то пунктом...

В углу комнаты, на полу лежала чугунная плита, на которой было начертано, что здесь жил Николай Васильевич Гоголь, и указаны даты, когда жил-поживал.

Гоголь явно жил не здесь, в комнате Достоевского; но почему всех классиков, национальную гордость, смели в одну кучу, как сор? Не спросил, постеснялся.

Скита, вроде, не достиг смерч, который разметал-размолотил Оптину. Одно здание, казалось, даже подновленным. Что здесь?

Добротное, церковной архитектуры, с причудливыми кокошниками над узкими окнами второго этажа, частично замурованными. От срезанного, по всей видимости, купола осталась окружавшая его теснота разностильных деталей с резьбой по камню. Арки. Выемы. Каменная плетенка по фасаду. Добротное московское барокко семнадцатого века. Почти "купецкое". Всего в избытке. В окнах промелькнуло несколько лиц.

Оказалось — это здание Оптинской библиотеки.

— Бывшей, извините. Раскрадены книги, и давненько... Сколько сохранилось? Военный секрет, извините; хранится под замком в крамолохранилище. Как вам известно, сие тайное место называется "Отделом редких книг Ленинской библиотеки", рядовому читателю доступа туда нет, извините. Мне пришлось стать лектором общества "Знание", точнее, "Смерть знанию!", чтоб за-

глянуть в тайное тайных. Сажу часами, сутками, переписываю, делюсь с людьми, не скрываю...

Остановился вдруг, отер ладонью синеватые губы, точно вспомнив — не с близкими говорит...

— Толстой? Как же Оптина... без Толстого?! Был здесь Лев Николаевич шесть раз, а возможно, больше. Занятные сведения оставил нам его слуга, который вел дневник. Есть у меня этот дневник. Переписал. — Усмехнулся чему-то. — В лаптях отправлялся Лев Николаевич в Оптину и с опаской... За бродяжничество ссылали в Сибирь, да еще вначале секли. По дороге полицейский чин сунулся: "Кто таков?!.. Знаю таких стариков-ханжей. Ну-ка, покажи документ!" А что, — добавил Конягин, усмехнувшись, — не было бы у Льва Николаевича документа?.. В холодную, а то и по шее б дали... Ужинал граф вместе с нищими, это он выдержал. Но вот идти в ночлежную избу, где вонища, блохи!.. Слуга дал монаху рубль, и тот водворил их в номер третьего класса, где укладывался сапожник. Сапожник захрапел так, что граф вскочил с испуга и сказал слуге:

— Разбуди этого человека и попроси его не храпеть.

Разбуженный сапожник возразил:

— Что же, прикажешь мне из-за твоего старика всю ночь не спать...

Сапожничьего храпа Лев Николаевич не вынес, но тут прибежали монахи, как-то прослышавшие, что в Оптиной находится граф Толстой. Перевели в гостиницу, где все обито бархатом. "Граф долго отказывался идти туда, сообщает слуга, но под конец все-таки решился..."

Мы слушали Конягина с улыбкой, он вскинул руку протестующе:

— Ничего тут веселого нет. Вот вы, историки, пишете, что в конце жизни Лев Толстой ушел из семьи... в Шадринский монастырь, где настоятельницей была его сестра Мария Николаевна Толстая. Извините, разве такое возможно?! Решил, что ли, умереть в женском монастыре? Сюда он шел помирать, в Оптину Пустынь, на место своего отдохновения, и письмо от него пришло заранее, мол, — иду. И от Гоголя прибыло одно из са-

мых последних его писем в Оптину, и тоже похоронено в крамолохранилище. В Оптину, в Оптину стремилось все, чем мы гордимся... Народные песни, которые собирал Петр Киреевский, сюда потоком шли. От Пушкина, из Псковской губернии, от Гоголя, из разных мест России, от Кольцова из Воронежа, от Даля из Приуралья. И все — в Оптину... Здесь, зде-эсь был центр духовной жизни России; самая кипень мысли; философ Владимир Соловьев тут дневал и ночевал; в Краеведческом музее хранятся подлинники гоголевских, тютчевских, тургеневских писем; в этих местах Тургенев охотился, отсюда вышли его "Записки охотника"; не было человека на Руси, который так или иначе не был бы связан с Оптиной Пустынью, во всяком случае, не знал о ней...

А новая власть, как видите, Оптину Пустынь — отменила. Ликвидировала как класс...

Краеведческий музей десять лет воевал, чтобы в столетний юбилей со дня смерти братьев Киреевских разрешили поставить на их могилы плиты-памятники. Какой торг шел с партийными властями, вспоминать стыдно! Ничего водрузить не разрешили; надгробные плиты вровень с землей положить, и все... Петра Киреевского они все ж признают: ученый, собиратель фольклора, "Собрание народных песен" Петра Киреевского уже не похоронишь, вылетела птичка! А вот брат Иван Киреевский, родоначальник славянофильства, и на дух им не нужен; тем более, извините, религиозный философ. Но как-то неловко одному брату — плиту, второго — на помойку. Уложили две плиты, заодно.

Когда открывали плиты, что тут было! Праздник из праздников. Прикатили со всех концов России: историки, литературоведы, просто русский люд, который вот ветки на могилы кладет... Прибыл на черной машине секретарь райкома. Опять торговля — что играть, когда чехлы с плит снимут. Интернационал — святотатство, Гимн Советского Союза — братья Киреевские в гробу перевернутся. Господи, что играть?! Запаниковал секретарь, едва праздник не отменил; столичные

музыковеды спасли: по их совету оркестр сыграл глинкавское "Славься"... Тут, вроде, все законно...

И сразу умчал секретарь на своей черной машине. А то ведь директор Краеведческого музея снова начнет про чугунные плиты нудить, при "всем научном люде"... Какие плиты?.. Видели же! "Здесь жил Н. В. Гоголь". На другой: "Здесь жил Ф. Достоевский". Не разрешают вешать. Так и лежат на полу.

— Не может быть! — воскликнул я.

А человек в офицерской фуражке без звезды только вздохнул горестно, видать, все это знал не хуже Конягина. В руках у него был истертый офицерский планшет, позднее он передал Коняге то, что привез для него. Какие-то старые рукописи. Истлевшие, желтые листочки... Вечером парень на мотоцикле приезжал — вручил Коняге оттиск — "Житие преподобного Симеона Нового Богослова"...

Тогда же, не сразу глазам своим поверил, увидел в доме Конягина зеленую папку, которую привезли ему московские историки. Похоже, Конягин собрал целую армию таких энтузиастов. Спасют все, что уцелело...

Но это я постиг вечером. А днем, во дворе Пустыни, мое лицо по-прежнему выражало недоумение: нельзя водрузить памятные чугунные доски Гоголю и Достоевскому? Какая чушь!..

Конягин объяснил мне терпеливо, нервно похрустывая пальцами:

— Музейные работники, Григорий, вправе заказать таблички. А вот повесить на стену — ни-ни. Это — прерогатива Калужского обкома партии...

Я подумал вдруг, что калужская психушка, кажется, добралась уже до Гоголя с Достоевским. Неужели это может длиться бесконечно?

Конягин взмахнул рукой, сжатой в кулак.

— Оптину пытаются даже из памяти вытравить. Жители Козельска, и те ничего толком не знают о ней. Видят, за рекой монастырские развалины, в которых копаются какие-то специалисты... А сами гордятся чем, видели? Дурацким птичником из гипса, фламинго сво-

ими, как ранее бюстами Сталина. Из того же гипса, между прочим. Гордятся любимыми времянками. А за рекой — вечная культура России.

В Козельске стоит стрелковая дивизия. Может, корпус. От солдат Оптину прячут, как заразу. Никогда не приводят! Никогда! — воскликнул он с гневом и болью.

Перед нами был человек истово религиозный. Страдающий за мерзость запустения Оптиной Пустыни — духовного центра Руси, ее святой святых...

— Что вы сказали, извините? — Конягин яростно сверкнул желтоватыми белками глаз... — А, вы все свое. Про реставрацию... А что реставрировать, товарищи специалисты? Камни?!

Душу-то народную убили. Веру втоптали в грязь. Духовно Россия сейчас, как м о й, давний мой пикировщик, у которого на взлете обрезало моторы. — Он круто повернулся и пошел мимо облупленных, с сырыми подтеками монастырских зданий к реке Жиздре.

Я простился со спутниками и бросился вдогонку.

Как-то вдруг совсем иначе повернулось ко мне все, что я видел на севере.

Помню, подходит к Кижам, на Онежском озере, теплоход с туристами. Гремят рупора: "Из-за острова на стрежень..." У каждого туриста своя музыка, свой магнитофон или приемник. Сходит человек по сходням, оглушенный. А на оставленном теплоходе, чтоб туристам не было скучно, запускают на полную громкость "...Приходите свататься, я не стану прятаться..."

На Соловках в Святом озере стирают трусы, носки... Сбиваются компании, кто с кем выпьет, где костер зажечь, разложить закуску. Перекликаются дикими голосами. Кружевной Преображенский собор, вырезанный топором, — сказка XVI века, осматривается набегу, между делом. Старина — стариной, главное — успеть бы выпить и закусить.

Никакого раздумья возле с о л о в е ц к и х стен, возле самых древних памятников. Никакого углубления в духовную жизнь...

Как не понять Конягина!

Он шел ходко, размахивая единственной рукой. Я долго не мог его догнать. А когда, запыхавшись, поравнялся с ним, спросил, что за народ я видел за окнами бывшей библиотеки? Реставраторы? Паломники?.. Кто там хозяйничает?

Он усмехнулся.

— Там хозяйничают... — он перечислил несколько часто встречающихся на Руси фамилий, вроде Иванов-Петров, и вдруг выплыло, как из давнего и страшного сна — Цыбулька!..

— Ка-акой Цыбулька?! "Перед кОм стоишь?!"

— Ты, что знал его?.. Энтузиаста?.. Ему и отдана Оптина Пустынь. Главный исполнитель. Старинные ветлы спиливает... Оптину библиотеку заняло его училище трактористов. Р е м е с л у х а.

Я молчал подавленно. Конягин заговорил первым, мы уж к его дому подходили.

— Как людям жить без веры! Может, "подпольные паломники" когда-то и выйдут из подполья? Многие из них ведь на вершинах науки и техники, известные всему миру имена. Бог им в помощь! Я сколько могу, читаю лекции по истории. Как понимаешь, даю больше, чем сказано в программе...

У двери он остановился, круто повернулся ко мне всем худощавым телом.

— Ты — веришь?.. Ты во что веришь?

— В тебя, Дмитрий Иванович. Ты — мой спаситель. Не ты, лежать бы мне в братской могиле...

— Та-ак!.. Ты, правда, ко мне приехал специально? Не проездом? Что так?

— Прощаться, Дмитрий Иванович.

— Про-ощаться... Я что, прослушал ночью-то? Себя слушал... — Он ссутулился, желтоватые глаза потускнели.

— Понимаю тебя, Григорий. Конь леченый, жид крещеный, вор прощенный. Присловье наше, казакское. Но живучее... Хоть навесь на себя не токмо что крест, но и вериги, все равно найдется уродина, которая заплюет с головы до ног: "Россию продали!" Я этих, с

разрешения сказать, христиан знаю. Не из-за них ли уезжаешь?

— Из-за них?! Государство их поддерживает из всех видов оружия. "Правых — журят, левых — убивают", — говорят в Москве.

— Вот-вот, жидоморов поддерживают, а православных христиан — давят, по тюрьмам гноят, будто преступников каких... — Он открыл дверь, щелкнул выключателем — полыхнула огненным цветом по стенам бывшая новгородская вольница.

— Власть пока не трогает, Дмитрий Иванович, или опять на тебя "особист" нашелся?

Конягин вздохнул. Улыбнулся невесело.

— Мне мать, бывало, говорила всердцах: "Ты, Дима, углом родился, чтоб о тебя свиньи чесались". А папаня, царство ему небесное, прибавлял неизменно: "Вроде жиды какого!"... Большой интернационалист был. Буденновец... Сколько еще чесаться свиньям о нашего брата?!

Я молчал. Он спросил словно вскользь:

— Библиотеку распродаешь или как?

— С собой беру...

— Всю?! Сколько у тебя томов?

— Я от этой России не уезжаю, Дмитрий Иванович. Тем более, что большинство ее авторов повесили, сдали в солдаты, прокляли во всех церквях по решению Святейшего Синода, застрелили, вытолкали за границу. Они-то и есть моя Россия. Наверное, не менее, чем ты...

Возле автобусной остановки мы обнялись. Затем он положил свою руку мне на плечо, мол, подожди, не торопись. Опустил руку, постоял несколько минут молча, закрыв глаза и шевеля губами, видно, в молитве.

Старенький автобус гремел издали. Остановился, высаживая кого-то.

Дмитрий Иванович взглянул на меня. Глаза сушены, жестки, и надежда в них, и боль, и тоска.

— Ты веришь в меня, Григорий?.. Говорю тебе, как брату: прорвется родник! Всегда на Руси был хоть глоток свободы. На Пасху, мать рассказывала, колокольни

были открыты с самого утра. Первый день Пасхи каждый мог вызванивать, что душе угодно, — на весь город трезвонить, на всю округу. Душа поет, плачет — звони! Первый день Пасхи — свободный звон...

Прорвется!..



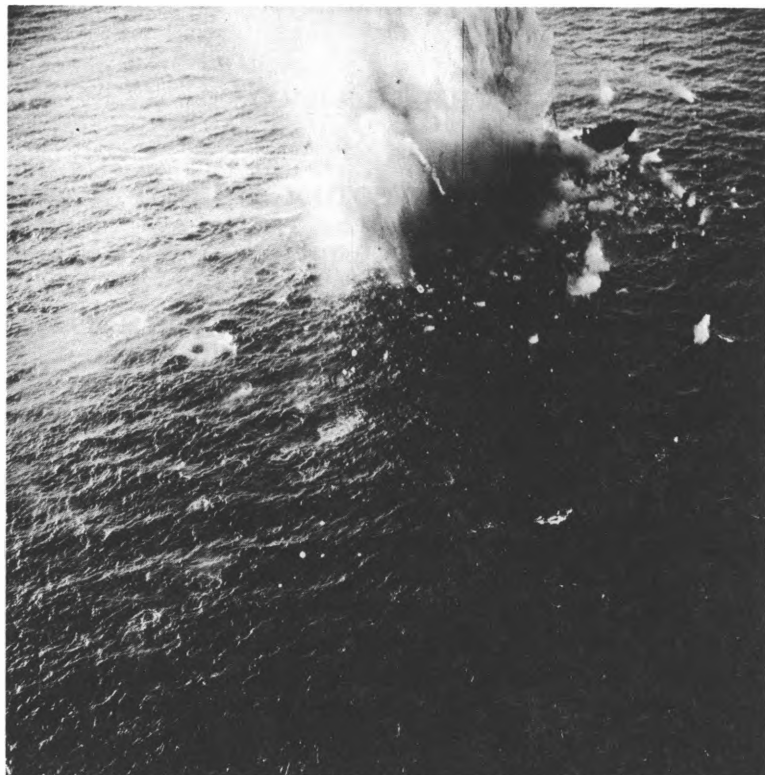
1. Автор в годы войны



2. Стратегический аэродром в районе Ваян (ныне Североморск).
Зима 1942–1943 г.г.



3. Разведывательный полет над Норвегией, 1943 г.



4. Прямое попадание 250 кг. бомбы в немецкую самоходную баржу, в районе норвежского порта Вардэ. Боевой вылет 25 сент., 1944 г. Летчик Тихомиров, воздушный стрелок Г. Свирский.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Глава 1. "ПЕРЕД КО́М СТОИШЬ?!"	7
Глава 2. "РУСС — ФАНЕР"	14
Глава 3. ВАЕНГА — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЭРОДРОМ	40
Глава 4. ВЕСЕЛИЕ НА РУСИ ЕСТЬ ПИТИ	83
Глава 5. "ПРОСТИ, ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК..."	100
Глава 6. ...И ПРОЩАЙ!"	113



ЭРМИТАЖ

В 1986 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (Статьи, 143 с.)	6.00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	10.00
АЛЬТШУЛЛЕР, М., ДДЫЖАКОВА, Е. "Путь отречения".	16.50
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, П., ГЕНИС, А. "Современная русская проза". (192 с.)	8.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 с.)	8.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	5.50
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. "Искушение". (Роман, 160 с.)	8.50
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 с.)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Чемодан". (Рассказы, 112 с.)	7.50
ДРУСКИН, Лев. "У неба на виду". (Избр. стихи, 230 с.)	9.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборник интервью, 120 с., илл.)	8.00
ЕРЕМИН, Михаил. "Стихотворения". (Сост. Л. Лосев, 160 с.)	7.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	8.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	5.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика" (Философ., 340 с.)	8.50
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. "Мир автора и структура текста" (Статьи о русской литературе, 350 с.)	15.00
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? (Статьи, сост. Ю. Фельштинский, 190 с.)	10.00
ЗАЙЧИК, Марк. "Феномен". (Рассказы, 184 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7.50
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ (352 с.)	13.50
КОРОТЮКОВ, А. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8.00
КРЕПС, Михаил. "Булгаков и Пастернак как романисты". (140 с.)	9.00
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 с.)	7.00
ЛОСЕВ, Лев. "Чудесный десант". (Стихи, 150 с.)	9.00
ЛУНГИНА, Т. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с., илл.)	12.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Маленькая Тереза". (Житие святой, 204 с.)	9.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с., 20 илл.)	10.00
ПОЭТИКА БРОДСКОГО (Статьи, ред.-сост. Л. Лосев, 256 с.)	12.00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Сказка о трех головах". (Рус. и англ., 128 с.)	7.50
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На рус., англ., фран., 140 с.)	8.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Звездопад". (Повести, 270 с.)	12.00
РОЗИНЕР, Феликс. "Весенние мужские игры". (Пов., рас., 208 с.)	8.50
РЫСКИН, Григорий. "Осень на Виндзорской дороге". (2 пов., 200 с.)	8.50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман об эмигр. 1970-х, 560 с.)	18.00
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прощание с Россией". (Повесть, илл., 140 с.)	8.50
СУСЛОВ, Илья. "Мои автографы". (Рассказы, 200 с., илл.)	10.00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и др. товарищах". (140 с.)	7.50
ТЕЛЕСИН, Юлиус. "1001 сов. полит. анекдот". (180 с.)	10.00
ТИМОФЕЕВ, Лев. "Последняя надежда выжить". (Очерки, 200 с.)	10.00
ТРОЦКИЙ, Лев. "Дневники и письма". (Сост. Ю. Фельштинский.)	12.00
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с., илл.)	7.00
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 200 с.)	8.50
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	7.00
ШУЛЬМАН, Соломон. "Инопланетяне над Россией". (208 с., илл.)	12.00

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P. O. Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA
К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от
числа заказываемых книг). При покупке 3-х и более книг — скидка 20%.



СВИРСКИЙ, Григорий. ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

Герой повести, перед тем, как уехать из России навсегда, решает в последний раз повидать фронтовых друзей. Чувствовал "с каждым днем острее и болезненнее — не смогу уехать, не простившись с ними. Россия огромная, а у каждого — своя". И от встречи к встрече, в воспоминаниях бывших солдат, встает перед читателем картина войны, несравнимая по яркости, правдивости и драматизму со всем, что мы читали до сих пор. Ибо мы вдруг понимаем: о войне написаны сотни томов, но повесть Свиурского — первое произведение, написанное очевидцем и участником в н е п о д ц е н з у р н ы х условиях. Только здесь, на Западе, смог писатель рассказать о "подснежниках" — тысячах замерзших трупов молоденьких ребят, брошенных без нужды сталинскими генералами под немецкие пулеметы; о фанерных самолетах "У-2", вдруг оказавшихся на современной войне; об израненных и обмороженных людях, побеждавших вопреки приказам бездарных командиров, и о жизни и жинных этих людей в послевоенной России, которую спасли от врага.

ISBN 0-91

491.7
S85p
1986